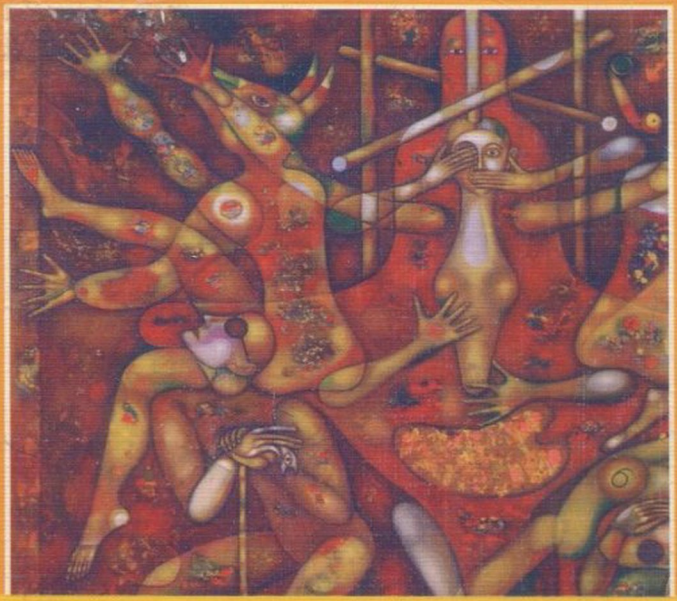
текст



Герберт Уэллс

Негасимый огонь

Роман о побежденном дьяволе

Негасимый огонь: Роман о побежденном дьяволе

Герберт Уэллс

Аннотация
Герберт Уэллс. Негасимый огонь
Глава 1. ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ
1
2
3
4
5
Глава 2. ПАНСИОН «МОРСКОЙ ВИД» В САНДЕРИНГ-ОН-СИ
1
2
3
Глава 3. ТРИ ПОСЕТИТЕЛЯ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
Глава 4. УМРЕМ ЛИ МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?
1
2
3
4
Глава 5. ИЛАЙХЬЮ УКОРЯЕТ ИОВА
1
2
3
4
5
6
7
Глава 6. ОПЕРАЦИЯ
1
Глава 7. ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММА
1
2
3
4

Аннотация

Ареной борьбы между Богом и сатаной становится душа английского учителя Хаса, который повторяет путь библейского Иова. Но страдания не ожесточили Хаса, вера его остается тверда, и сатана вновь посрамлен…

Роман Герберта Уэллса «Негасимый огонь» впервые выходит на русском языке.

Герберт Уэллс
Негасимый огонь

Всем школьным наставникам и наставницам и каждому учителю в мире

Глава 1
ПРОЛОГ НА НЕБЕСАХ

1

Два бессмертных существа, окруженных величественными аурами, одно — в изобилии белого сияния, другое — в поразительном разнообразии цветов, беседовали в обстановке, ошеломляющей своей колоссальностью. Их окружал интерьер дворца, отмеченный космическими чертами. Помещение это не имело определенного местоположения; оно было вознесенным и одновременно всеохватывающим по отношению к материальному миру.

Представим, что футурист, обладающий солидными познаниями в области современной физики и химии, а также запутанных духовнобогословских теорий, переписал эскиз, созданный прерафаэлитом. Гигантские колонны утопали в бездонной темноте, а запутанные кривые и завитки украшений, казалось, были прочерчены полетом элементарных частиц. Планеты и солнца вращались и проскальзывали из авантюриновых глубин пола в кристаллиновый эфир зала. Здесь также присутствовали гигантские крылатые фигуры в радужных облачениях, держащие шары, звезды, свитки законов, пламенные мечи и тому

подобные символы. Слышны были голоса херувимов и серафимов, беспрерывно возносящие хвалу: «Свят, свят, свят».

Ныне, как и в древнем Писании, свершался прием сыновей Божьих.

Хозяин этого высокого собрания мог бы с полным основанием испытывать чувство сдержанной скуки, зная заранее и с неизбежностью все, что может произойти, но, напротив, проявлял живой интерес к своему собеседнику. Этим собеседником был, конечно, Сатана — гость по сути своей неожиданный.

Контраст между двумя этими бессмертными существами был разителен; в то время как Божество, окутанное и почти полностью укрытое светом, с волосами, подобными руну, и глазами, своей голубизной напоминающими бездонную глубину Небес, производило впечатление отдаленного, неколебимого, горнего величия, Сатана являл собой средоточие проворства; будучи конкретным, как дорожный саквояж, он нес в себе дух инициативы и как бы подгонял и будоражил происходящую сцену, которая, несмотря на это, была полна безмятежного совершенства. Даже его аура выглядела несколько поношенной в странствиях. Он изрядно побродил по лику Зем-

ли, опускался в бездны и возносился ввысь; следы этих путешествий, как ярлыки, все еще были запечатлены на нем. Его статус на небесах оставался таким же неопределенным, каким был во времена Иова, и пребывал таковым по сей день, потому что неизвестно было, рассматривать его как одного из сыновей Божьих или как непонятного и назойливого пришельца. (Ответ на этот вопрос вам лучше посмотреть в соответствующей статье Библейской Энциклопедии.) Одно было очевидно: в Божественном присутствии его уверенность в собственной важности и значимости только возрастала. Его свобода могла быть прирожденной или санкционированной, но сам он, без сомнения, пребывал в уверенности относительно своей независимости. Он твердо верил, что является необходимым приложением к Богу и что обязательный контраст с молчаливым согласием архангелов — его неотъемлемое качество. Если Бог проявляет свою вездесущность как спокойную необходимость, Сатана присутствует повсюду из-за своей бесконечной активности. И теперь, как всегда, они были заняты своими вечными метафизическими расхождениями, которым Сатана умел придать оттенок дружеского подтрунивания. Они привычно разыгрывали

бесконечную шахматную партию.

Но шахматы, в которые они каждый раз играют, встречаясь, — не та маленькая хитроумная игра, которая была изобретена в Индии; это нечто выдержанное совсем в ином масштабе. Повелитель Вселенной создает доску, фигуры и правила; он же делает все ходы; он может сделать столько ходов, сколько пожелает, и там, где пожелает; в то же время его антагонисту дозволено вносить в каждый ход легкие, необъяснимые отклонения, которые в дальнейшем требуют новых ходов для их коррекции. Творец определяет и скрывает цель игры, и со стороны всегда остается неясным, желает его соперник помешать или помочь ему в этом непостижимом проекте. Противник явно не может выиграть, но также не может и проиграть до тех пор, пока он в состоянии продолжать игру. Однако он заинтересован, как может показаться, в том, чтобы предотвратить развитие игры в любом рациональном направлении.

2

Божественная ирония одновременно слишком высока и широка, чтобы с легкостью восприниматься в диапазоне земных понятий и категорий. Сатанический элемент неожиданности способен целиком заполнить смехом всю сферу Бытия; дрожь, порожденная громовыми реверберациями, сотрясает наши бедные умы в самые удивительные моменты. Сатана считает примером хорошего юмора ткнуть Властителя носом в его же собственный титул Уникума и оспаривать *у него* авторство жизни. (Вызывая такими выходками возмущение у ангелов.)

— Я один лишь творю.

— Но я — я вызываю брожение.

— Я создал материю и все вещи.

— Да, недвижимые сонные вершины, но я сделал так, чтобы они заколебались.

— Но ты всего лишь внес малую разницу, создающую индивидуальность. Ты — ничтожная уникальность во всех и в каждом, уникальность, нарушающая закон, сноска на полях, придающая характерные черты.

— Ты же, сир, Уникум, примета уникальности

всеобщего.

Небеса усмехнулись, и на планетах наступили безмятежные дни.

— Я усредню тебя в конце концов, и ты исчезнешь.

— И все исчезнет.

— Все станет совершенным.

— Без меня!

— Ты портишь симметрию моей Вселенной.

— Я дарю ей жизнь.

— Жизнь исходит от меня.

— Нет, сир, жизнь исходит от меня.

Одна из гигантских фигур, стоявших рядом, обозначилась ликом архангела Михаила, держащего наготове свой меч.

— Он богохульствует, Господи. Позволь, я выкину его вон?

— Но ты как-то уже делал это, — беспечно бросил через плечо Сатана, даже не взглянув на архангела. — И никак не хочешь забыть свою привычку. А я по-прежнему здесь.

— Он каждый раз возвращается, — примирительно сказал Господь. — Впрочем, это я хочу, чтобы он возвращался. Что бы мы делали без него?

— Без меня время и пространство застыли бы в

кристаллическом совершенстве, — произнес Сатана, и от его улыбки кривая роста преступности на мириадах планет резко пошла вверх. — Ведь я тот, кто мутит воду. Именно я возмущаю порядок вещей. Я дух жизни.

— Но душа… — возразил Бог.

Развалившийся на троне Сатана в ответ лишь поднял брови. Дискуссию о душе он считал слабостью Божества. Он знать ничего не хотел о душе.

— Я создал человека по своему образу и подобию, — сказал Бог.

— А я сделал из него мирянина. Если бы не я, он так и остался бы никчемным садовником, притворяющимся, что возделывает сад, лишенный сорняков и растущий правильно, потому что в этом бесконечном благословенном лете он не может расти по-другому. Подумай об этом, о Всесильный и Всемогущий! Безупречные цветы! Безукоризненные плоды. Ни осеннего холодка! Ни единого желтого листочка! Золотые леопарды, благородные львы, несостоявшиеся плотоядные, мурлыкающие от его ласки рядом с бесцельно резвящимися ягнятами, которые никогда не станут взрослыми овцами! Господи Боже! Как ему, наверное, там было скучно! Как тоскливо! А я? Разве я не отправил его в чудеснейшую, полную

приключений жизнь? Именно я дал ему историю. Открыл ему дорогу вверх вплоть до самых пределов его возможностей. До самых пределов… А ты?! Ты послал своих ангелов с пламенными мечами, осудив мое деяние!

Бог ничего не ответил на его слова.

— И это напоминает тебе обо мне, — без всякого смущения добавил Сатана.

3

Крылатые фигуры обратились в слух — Сатана считался удивительным рассказчиком. Он умел творить истории.

— Был человек в земле Уц, имя его Иов.

— Мы помним его.

— У нас было заключено пари, — сказал Сатана. — Некоторое время назад.

— Но это пари так никогда не было решено — и зачем ты теперь напоминаешь мне о нем, когда нигде нет записи о том, что ты уплатил по счету?

— А я проиграл или выиграл? Этот вопрос был сильно затемнен во время обсуждения. Как эти люди умеют все запутать! Вмешался ты. А решение так и не было вынесено.

— Ты проиграл, Сатана, — произнесла одна из гигантских фигур, сотканная из света и держащая в руке книгу. — Пари состояло в том, утратит ли Иов веру в Господа и возведет ли хулу на него. И он был поражен со всех сторон всячески, а особенно разговорами со своими друзьями. Но неугасимый пламень веры сохранился в этом человеке.

Сатана опустил темное лицо на руки и посмот-

рел меж своих колен сквозь прозрачный пол вниз на тот маленький вихрь эфира, в котором вращается наш мир.

— Иов, — сказал он, — жив до сих пор. — И, помолчав, добавил: — Весь земной мир теперь — это Иов.

Сатана всегда получал удовольствие как от статистики, так и от цитирования Писания. Он откинулся на своем кресле с выражением спокойного довольства.

— Иов, — начал он непринужденным повествовательным тоном, — дожил до преклонного возраста. После своих неприятных переживаний он жил еще сто сорок лет. У него было семь сыновей и три дочери, и ему довелось увидеть своих потомков в четырех поколениях. Это просто классический пример. Десять детей принесли ему семьдесят внуков, которые в свою очередь процветали и имели многочисленные семьи. Эго было плодовитое племя. Если посчитать по три поколения за век, а в действительности бывает более трех, если принять количество выживших детей примерно три на семью и если мы согласимся с нашим высокочтимым епископом Эшером, считавшим, что Иов жил примерно тридцать пять веков назад, это даст нам… Сколь-

ко? Три в сто пятой степени?.. В любом случае это количество с избытком превосходит нынешнее население Земли… У вас тут глобусы и свитки, мечи и звезды, а есть ли у кого-нибудь логарифмическая линейка?

Однако Господь проигнорировал эти подсчеты:

— В моих глазах прошедшее тысячелетие — все равно что вчерашний день. Я вполне могу допустить то, что ты пытаешься доказать, — Иов превратился в Человечество.

4

Темный взгляд Сатаны ударил вниз сквозь трепещущее мироздание, опередив едва поспевавшие за ним световые волны.

— Посмотри туда, — произнес он, сделав указующий жест. — Мой лучший друг — Адам — Иов — Человек — пристроен на этой маленькой планетке, как жаркое на вертеле. По-моему, нам пора заключать новое пари.

Бог соизволил взглянуть вместе с Сатаной на человечество, кружащееся между днем и ночью.

— О том, проклянет он меня или благословит?

— О том, вспомнит ли он вообще о Боге. — На склоненном лице мелькнула легкая улыбка. — Эти вопросы меняются от века к веку, — сказал Сатана.

— Целое остается неизменным.

— История развивается одновременно во всех направлениях, — сказал Сатана, словно размышляя вслух. — Прошлое и будущее разворачиваются вместе… Когда столкнулись первые атомы, я был тут как туг, и возник первый конфликт, а значит — прогресс. Дни древней истории простираются теперь на миллионы лет, и я присутствую

там по-прежнему. Акулы и ползающие чудища древних морей, существа, впервые выбравшиеся из воды в джунгли хвощей и папоротников, первые рептилии, прыгающие и летающие драконы великой эры жизни, мощные чудовища с копытами и рогами, пришедшие им на смену, — все они боялись и страдали. В конце концов из лесов явился этот твой человек, волосатый, густобровый, запятнанный кровью и не имеющий особой надежды на пресловутые райские кущи. Такого сада никогда не было. Человек успел совершить грехопадение прежде, чем сумел подняться с четверенек, а сорняки и тернии оказались настолько же древними, как и цветы. Так что первородный грех переместился теперь глубже в прошлое; он случился раньше появления человека, раньше сотворения мира, раньше всего вообразимого. Сами звезды были рождены во грехе… Если мы можем по-прежнему называть это грехом, — задумчиво пробормотал Сатана. — И на маленькой планетке возникло это существо, этот красный глиняный прах, этот Адам, этот Иов. Он строит города, обрабатывает землю, ловит молнии и обращает их в рабство, видоизменяет породы скота и растения. Большие дела совершает он, но и мелкие тоже. Можно сказать, что в какой-то степени

он поднялся до *этого*… Он весьма глуп и слишком слаб. Его достижения только подчеркивают его ограниченность. Взгляни на его маленький мозг, заключенный в костяную коробку черепа, не дающую ему расти! Посмотри на мешок его тела, полный обрезков и рудиментов, начиненный болезнями. Его жизнь — это распад… Растет ли он? Я этого не вижу. Сделал ли он хоть какой-то заметный шаг вперед за последние десять тысяч лет? Он бесконечно и бесцельно спорит сам с собой… Скоро его планета остынет и покроется льдом.

— В конце концов он будет властвовать над звездами, — сказал голос, вознесенный над Сатаной, — ибо на нем есть дух мой.

Сатана прикрыл рукой лицо от блеска, разлившегося рядом с ним. Некоторое время он молчал, но продолжал наблюдать за человечеством, как мальчик на берегу ручья за мелкой рыбешкой, резвящейся на мелководье.

— Нет, — сказал он наконец. — Это невероятно. Это просто невозможно. Я достаточно долго препятствовал ему и лишал покоя. Я довел его до такого жалкого состояния, до какого только мог. Но сегодня я склоняюсь к жалости. Давай закончим этот диспут. Это было интересно, но теперь…

Может быть, хватит? Игра становится жестокой. Он уже дошел до крайней черты. Давай дадим ему немножко покоя, Господи, короткое время солнечного света и изобилия, а потом какая-нибудь безболезненная космическая эпидемия — и пусть он умрет.

— Он бессмертен, и его жизнь только начинается.

— Он смертен, и его жизнь близится к концу. Время от времени он напускает на себя важный вид, который вроде бы обещает достижение понимания или обладание окружающим миром, но это только иллюзия. Дай мне только власть хоть немного придавить и сокрушить его, и тогда, провизжав несколько фраз о вере и надежде, он начнет скулить и падет духом, как любое другое животное. Он будет вести себя, как любое родственное ему существо с меньшим мозгом и более массивной челюстью; он так же, как и животное, обречен на бесцельное страдание, на инстинктивную борьбу всего лишь ради выживания, для того, чтобы выдержать какое-то время, а потом уйти… Дай мне лишь власть, и ты увидишь, как его мужество лопнет, словно гнилой шнурок.

— Ты можешь делать с ним все, что захочешь, только не должен умерщвлять его. Ибо на нем

есть дух мой.

— Который он отбросит по собственному желанию — когда я разрушу его надежды, высмею его жертвы, сделаю черными его небеса и пыткою наполню жилы его… Но это слишком легко сделать. Позволь мне убить его тогда и закончить его историю. Тогда мы начнем что-нибудь другое, более забавное. Давай, к примеру, наделим мозгом — и этой твоей Душой — муравьев, пчел или бобров! Или будем опекать осьминога, и так уже весьма тактичное и интеллигентное существо!

— Нет. Делай, как я сказал, Сатана. Потому что ты всегда остаешься только моим инструментом. Испытай человека до высшего предела. Проверь, действительно ли он не более чем ничтожный всплеск среди слизи, колебание ила, не означающее ровным счетом ничего…

5

Сатана, спрятав свое лицо в тени, казалось, не слушал его, но продолжал внимательно и упорно всматриваться в мир людей.

И пока эта коричневая фигура, окруженная аурой, похожей на изношенный хвост огненного павлина, раздумывала, витая высоко над сферой бытия, с одним человеком, живущим на Земле, случилось то, что случилось.

Глава 2
ПАНСИОН «МОРСКОЙ ВИД» В САНДЕРИНГ-ОН-СИ

1

В убогом номере пансиона в Сандеринг-он-Си, на неудобном кресле, крытом скользким черным конским волосом, сидел больной человек и тупо смотрел в окно. В этот гнетущий, жаркий день воздух под свинцовым небом был почти недвижим. Издали доносились глухие тяжелые удары артиллерийского учения в Шорхэмстоу. По всей комнате в огромном множестве ползали и прерывисто жужжали мухи, а неподалеку то и дело тявкала какая-то дворняжка, выражая свое неудовольствие тем, что ее посадили на цепь. Окно выходило на свободный участок под застройку — пустырь, обнесенный забором из труб и колючей проволоки, покрытый выгоревшей травой и всяким ржавым хламом. Между ветхой доской для объявлений какой-то довоенной строительной компании и длинной верандой дома отдыха для выздоравливающих, где можно было различить палубные шезлонги и в них две унылых фигуры раненых в синих пижамах, проглядывал клочок моря; однако находился этот клочок за широкой полосой ила, над которой дрожал терзаемый жарой воздух — молчаливый гнев

небес, опустившихся вниз, чтобы встретиться на строго законспирированной линии с воровски прячущимся вдали пустынным морем.

Человек в кресле прихлопнул рукой надоедливое насекомое и произнес:

— Ах ты, проклятая тварь! И зачем только Бог создал этих мух?

После долгой паузы он глубоко вздохнул и повторил:

— Зачем?

Он сделал судорожную попытку усесться поудобнее, но в конце концов опять застыл в позе подавленной задумчивости.

Когда в комнату вошла домохозяйка, чтобы накрыть стол для ленча, он лишь едва заметной дрожью показал, что слышит, как шуршит ее платье при резких перемещениях. Она явно разгорячилась возле плиты, и вместе с нею в комнату вплыл запах подгоревшего картофеля. Это была худая маленькая женщина с весьма обидчивым характером, на ее остром красном носу сердито сверкали очки; расстилая узорчатое полотно в серо-белых ромбах и со стуком раскладывая по местам ножи и вилки, она мрачно поглядывала на него, словно его невнимание ее оскорбляло. Пару раз она собиралась заговорить

и не решалась, однако все же не смогла дольше выдерживать его безразличное молчание.

— Все еще плохо себя чувствуем, мистер Хас? — спросила она тоном человека, который прекрасно знает, каков будет ответ.

При звуке ее голоса он вздрогнул и как бы с усилием отреагировал на ее присутствие:

— Простите, миссис Крумм?

Хозяйка раздраженно повторила:

— Я только хотела узнать, по-прежнему ли вы чувствуете себя неважно, мистер Хас.

Отвечая, он не удостоил ее прямого взгляда, а лишь краешком глаза покосился в ее сторону.

— Да, — сказал он. — Да, это так, боюсь, что я нездоров.

Она неприязненно фыркнула в знак согласия, и это заставило его повернуть голову.

— Но заметьте, миссис Крумм, я не хочу, чтобы миссис Хас беспокоилась по этому поводу. С нее довольно этих беспокойств именно сейчас.

— Беда не приходит одна, — спокойно сказала миссис Крумм, наклоняясь через стол, чтобы смахнуть со скатерти на пол маленькую крупицу соли.

Она не собиралась делать никаких поспешных обещаний относительно миссис Хас.

— Нам приходится переносить все, что нежданно наваливается на нас, — промолвила миссис Крумм. — Мы должны находить стойкость там, где ее следует искать. — Она выпрямилась и посмотрела на него с задумчивой недоброжелательностью. — Очень возможно, что все, в чем вы нуждаетесь, — это тонизирующее средство определенного сорта. Мне кажется, вы просто распустились. Меня бы это не удивило.

Больной без восторга отнесся к ее предположению. А миссис Крумм продолжала:

— Если бы вы заглянули на угол к молодому доктору — его зовут. Баррак, — весьма возможно, он признал бы вашу правоту. Все говорят, что он очень умен. Но ни я, ни мистер Крумм не слишком доверяем докторам. И не нуждаемся в них. Но вы-то стоите на другой позиции.

Человек, сидящий в кресле, уже дважды побывал на углу у молодого доктора, но сейчас он не собирался обсуждать с миссис Крумм результаты своего визита.

— Мне надо подумать, — сказал он уклончиво.

— В конце концов это нехорошо не только для вас, но и для окружающих — заболеть неизвестно чем и остаться без надлежащего врачебного надзора. Сидеть здесь и ничего не предпринимать.

Особенно в наемном жилище и в такое время года. Это, я сказала бы, не слишком тактично.

— Совершенно верно, — подтвердил мистер Хас слабым голосом.

— Здесь есть соответствующим образом оборудованные пансионаты и госпитали.

Больной человек кивнул головой, признавая ее правоту.

— Если события пресекать в корне, они пресекаются в корне, в противном случае они нарастают и создают неприятности.

И это тоже в точности соответствовало тому, что думал ее слушатель.

Миссис Крумм нырнула в погребец длинного буфета и, выхватив оттуда бутылку виски, бутылку лимонного сока и сифон с содовой, расставила их на столе. Окинув дело своих рук критическим взглядом, она прошептала:

— Графинчик, — и исчезла из комнаты, позволив двери после мучительного скрипа закрыться за нею под действием собственной тяжести…

Больной поднял руку ко лбу и обнаружил выступивший пот. Рука его отчаянно дрожала.

— Боже мой! — прошептал он.

2

Имя этого человека было Иов Хас. Его отца тоже звали Иов, и так далее, поколение за поколением по семейной традиции старшего сына в семье называли Иовом. Четыре недели назад его можно было считать явно преуспевающим и даже достойным зависти человеком, но теперь на него обрушилась неожиданная волна бедствий.

Он был директором Возрожденной школы Гильдии Бумагоделателей лондонского Сити — большой современной частной школы в Уолдингстентоне, в графстве Норфолк. Посвятив себя всего без остатка учреждению этой школы, он приобрел в обществе высокую репутацию, как самоотверженностью, так и другими личными качествами. Он стал первым английским педагогом, сумевшим освободить современное образование от трудностей, возникающих на низших его стадиях с изучением классических предметов; это была единственная школа в Англии, в которой добросовестно преподавались испанский и русский языки; его научные лаборатории были лучшими школьными лабораториями в Великобритании, а возможно, и во

всем мире, а его новые методы изучения истории и политических наук привлекали в Уолдингстентон постоянный поток интересующихся из-за рубежа. Рука врага рода человеческого впервые коснулась его как раз в конце летней четверти. Разразилась эпидемия кори, во время которой из-за необъяснимой небрежности вполне надежных медсестер двое мальчиков умерли. На следующий день после этих смертей помощник преподавателя погиб при взрыве в химической лаборатории. Затем ночью накануне последнего дня занятий в школьном здании произошел пожар, в котором сгорели два младших школьника.

Против любого из этих несчастий, взятых по отдельности, мистер Хас и его школа выступили бы нерушимым фронтом и устояли, но столь быстрая их сменяемость произвела сокрушительный эффект. Все обстоятельства, объединившиеся, чтобы вызвать эти события, поразили мистера Хаса четкостью и ясностью ужасных сцен. Он был первым, кто пришел на помощь учителю химии, который лежал среди бутылей с кислотой, и хотя еще дышал и боролся за жизнь, но уже ослеп, потерял пол-лица и получил безнадежные повреждения. Бедный парень умер прежде, чем его успели вынести. В ночь пожара мистер Хас

сильно перенервничал и очень болезненно ушиб ногу. Он сам обнаружил и вынес обугленные тела мальчиков из комнаты, оказавшейся для них ловушкой; дети оказались запертыми в ней — кто-то «подшутил» над ними ради «последнего дня». Это добавило еще один элемент раздражающего *беспокойства* к весьма огорчительному для мистера Хаса факту: все его бумаги и почти все личное имущество сгорели.

Наутро после пожара покончил с собой адвокат мистера Хаса. Это был его старый друг, которому мистер Хас полностью доверял управление своими сбережениями, рассчитывая на достойную и обеспеченную старость для себя и миссис Хас. Несчастный юрист обладал устойчивыми политическими убеждениями и либеральными взглядами и покупал рубли, чтобы продемонстрировать свое доверие к русской революции и Временному правительству, надеясь на выгоду не только для мистера Хаса, но и для себя.

Все эти события повергли мистера Хаса в совершенное уныние; его жена восприняла их не менее драматично. Она была достойной, но впечатлительной леди; повышенная эмоциональность нс способствовала стойкости ее характера. Как большинство жен директоров школ, она многие

годы занималась исключительно домашним хозяйством, и первой ее реакцией явилось установление режима строгой экономии и выражение презрения к практическим способностям мужа, чего ранее она никогда не проявляла. Возможно, намного лучше было бы, если бы несчастья сломили и ее волю, но она пожелала руководить всем и делала это с достойной сожаления страстью, которая не терпела противоречий. Нельзя было оставаться в Уолдингстентоне в течение всех каникул рядом с трагическими, почерневшими руинами школьного здания, и она решилась переехать в Сандеринг-он-Си из-за его близости и довоенной репутации дешевого курортного места. Там, как объявила она, ее муж должен был «собраться и снова обрести свой путь», чтобы после этого вернуться к восстановлению школы и ее репутации. Много формальностей надо было преодолеть, прежде чем приступать к ремонту, потому что в те дни Британия находилась в отчаянном положении из-за военных расходов; рабочая сила и материалы были недоступны без особого разрешения, а добыть его требовало большого напряжения сил. Для ее мужа Сандеринг-он-Си был столь же подходящим местом, как и все другие, чтобы писать оттуда письма,

но его идея отправиться в Лондон и встретиться с влиятельными людьми натолкнулась на возражения со стороны миссис Хас по причине больших расходов и, когда он стал настаивать, вызвала бурю слез.

По прибытии в Сандеринг миссис Хас остановилась в привокзальном отеле и провела следующее утро в яростных поисках возможного жилья. Что-то привлекло ее в непритязательном виде пансиона «Морской вид», и после продолжительных дебатов она сумела сбить плату, которую запрашивала миссис Крумм, с пяти до четырех с половиной гиней в неделю. В тот же день после полудня еще один назойливый претендент, оказавшийся в безвыходном положении — потому что произошел неожиданный наплыв отдыхающих в Сандеринг, — предложил шесть гиней. Миссис Крумм попыталась отказаться от своих первоначальных условий, однако миссис Хас оказалась упрямой, и с тех пор все общение между хозяйкой и ее постояльцами сопровождалось невысказанным рефреном: «Я получаю четыре с половиной гинеи, в то время как я должна получать шесть». Чтобы компенсировать ущерб, миссис Крумм попыталась делать дополнительные начисления за пользование

ванной, за готовку после пяти часов, за чистку коричневых ботинок мистера Хаса специально приобретенным для этого коричневым кремом вместо черной ваксы и за чернила, использованные им для его весьма обширной переписки, — по всем этим пунктам возникли споры и огорчительные конфликты.

Но еще один удар, более тяжелый, чем все предыдущие, обрушился теперь на мистера и миссис Хас. Ветхозаветный Иов имел семерых сыновей и трех дочерей, и все они были уничтожены. Нынешний Иов должен был вынести более тяжкую потерю; у него был только один любимый сын, многообещающий мальчик, который поступил в Королевский авиационный корпус. Пришло известие, что он был сбит над германской линией фронта.

К несчастью, между мистером и миссис Хас существовали разногласия по поводу карьеры сына. Хас гордился, что юноша избрал столь героическое поприще; миссис Хас делала все возможное, чтобы воспрепятствовать этому. Теперь бедная леди сделалась весьма жестокой в своем горе. Она поносила мужа как убийцу собственного сына. Она выражала надежду, что он доволен делом своих рук. Теперь он мог добавить

еще одно имя к своему списку; он мог добавить его к поминальному свитку в часовне «вместе с другими». Вписать туда ее дитя! Сказав это, она с рыданиями покинула комнату.

Несчастный человек остался сидеть, пораженный ее словами. Фраза «вместе с другими» ударила его в самое сердце. В школьной часовне действительно был список кавалеров Креста Виктории, Медали за Отличие и тому подобных наград — непревзойденный список, и в самом деле он был его гордостью. В течение нескольких дней его душа оставалась как бы оглушенной. Он находился в состоянии чрезвычайного нервного истощения и апатии. Он едва мог отвечать на самые необходимые письма. От достоинства, надежды и огромного запаса активности его жизнь вдруг резко повернулась в сторону этого тусклого жилья, заполненного перебранкой двух неразумных женщин; его работа в этом мире обратилась в руины; в нем не осталось силы для борьбы с судьбой. И смутная внутренняя боль медленно прокралась в его сознание.

Его жена, нездорово жестокая от скорби и страдания, пыталась затеять с ним крупную ссору из-за ношения траура по их сыну. Он никогда не одобрял и всегда высказывался против этих

помпезных ритуалов смерти, но она настаивала на том, что, какое бы бессердечие он ни проявлял, по крайней мере она должна носить черное. Он может, сказала жена, быть уверен, что она не потратит денег больше, чем требуют простые приличия; она купит самый дешевый материал и сошьет платье в собственной спальне, но в черном она ходить будет. Это решение привело к прямому конфликту с миссис Крумм, которая возмутилась тем, что одна из ее лучших спален будет замусорена лоскутами черной материи, и потребовала плату за пользование швейной машинкой. Однако траурное платье обязательно следовало сшить, настаивала миссис Хас, даже если ей пришлось бы делать каждый стежок вручную. И бедная полубезумная леди в приступе глупой бережливости наделала себе еще больших хлопот, разрезав материал во всех направлениях не менее чем на полдюйма короче, чем было обозначено на бумажной выкройке. Она вступила чуть ли не в физическую схватку с миссис Крумм из-за состояния ковра и кроватного покрывала, а миссис Крумм сделала все возможное, чтобы втянуть мистера Хаса в препирательство со своим мужем:

— Крумм старается не вмешиваться, но опре-

деленным вещам некому противостоять, кроме него, мистер Хас.

В течение нескольких дней на этом поле боя неутолимой печали и мелочной жестокости, ощущая тупую боль, упорно пробивающую себе путь, мистер Хас заставлял себя в какой-то степени продолжать осуществлять комплекс мер, необходимых при бедствии, случившемся с его школой. Затем как-то ночью он увидел сон, который, как это часто бывает, прояснил ему его телесное состояние. Глядя как бы со стороны, он увидел какое-то твердое белое тело, которое рассылало круглые, червеобразные щупальца во все уголки его существа. Многочисленные доктора силились оторвать эту тварь от него. Но при каждом их усилии боль только возрастала.

Он проснулся, но боль продолжала пульсировать в нем.

Некоторое время он лежал неподвижно. И в непроглядной темноте он увидел слово «рак», ярко-красное и пылающее — как боль…

Перед лицом очевидной реальности он стал выдвигать мысленные аргументы, формулируя их в условном наклонении. «Если это так…» — предположил он, хотя уже знал, что это так. Что он должен сделать? Ведь болезнь влечет за собой

операции, большие расходы, все возрастающую слабость…

К кому обратиться за советом? Кто смог бы помочь ему?..

Допустим, утром он возьмет билет в купальню, будто собрался искупаться, и отправится за илистую отмель. Он должен вести себя так, словно его внезапно настигла судорога…

Выдержать пять минут удушья, а затем покой — бесконечный покой!

— Нет, — сказал он в неожиданном порыве отваги, — я должен бороться с этим до конца.

Но его разум слишком отупел, чтобы строить планы, и физический страх овладел им. Ему нужно было найти где-нибудь врача, и даже эта маленькая задача привела его в ужас.

Затем ему следовало все рассказать миссис Хас…

Он еще немного полежал неподвижно, словно прислушиваясь к то нарастающей, то ослабевающей боли.

— О, если бы у меня был кто-то, способный мне помочь! — прошептал он, подавленный своим одиноким бедственным положением. — Если бы был хоть кто-то!

За многие годы он ни разу не заплакал, но те-

перь слезы полились из его глаз. Он повернулся, зарылся лицом в подушку и попытался увернуться веем телом от этой грызущей боли, как это сделал бы испуганный ребенок.

Ночь нависла над ним, как чье-то постороннее присутствие, которое не обещало ни ответа, ни помощи.

3

На углу, за дверью с бронзовой табличкой, гласившей «Доктор Илайхью Баррак», мистер Хас обнаружил строгого компетентного молодого врача, который, потеряв ногу на войне, вернулся к своей практике в Сандеринг-он-Си. Механическим протезом он, казалось, пользовался легко и непринужденно. Выглядел он одновременно скромным и находчивым; его неблагоприятный диагноз был тем более убедителен, что являлся предполагаемым и условным. Он знал настоящего специалиста для данного случая; ему доводилось встречать на сандерингских дюнах такого хирурга, как сам сэр Алфеус Менго, часто приезжавший сюда поиграть в гольф. Достаточно легко можно было устроить так, чтобы он осмотрел мистера Хаса в маленьком консультационном кабинете доктора Баррака, и, если понадобится операция, она может быть проведена с минимумом затрат на квартире мистера Хаса без дополнительных расходов на проезд и тому подобное.

— Разумеется, конечно, — сказал мистер Хас, ясно представляя себе протестующую реакцию

миссис Крумм на такое предложение.

Сэр Алфеус Менго прибыл в субботу и тайно обследовал больного. Операцию он решил провести в следующий уик-энд. Мистеру Хасу предстояло самому объявить эту новость своей жене и сделать все необходимые приготовления в комнатах, которые он снимал у миссис Крумм.

Теперь он сидел, прислушиваясь к шагам жены наверху, в спальне, и к приглушенной возне, означавшей кульминацию действий миссис Крумм по приготовлению дневной трапезы. Он слышал, как она прокричала снизу, спрашивая, готов ли мистер Хас к тому, чтобы она подавала на стол. Его охватила паника, как школьника, не выучившего урок. Он спешно попытался сформулировать какие-то вступительные фразы, но ничего не приходило ему в голову, кроме слов, выражающих раздражение и жалобу. Гнетущая дневная жара смешивалась в его ощущениях с болью. От кухонных запахов его тошнило. Он не чувствовал в себе сил сидеть за столом и делать вид, что ест пищу — пережаренный бекон и подгорелый картофель.

В коридоре послышалось звяканье тарелок. Пинком отворив дверь, миссис Крумм водрузила на стол стряпню, выражая всем своим видом

нечто среднее между обороной и вызовом. «А чего еще, — казалось, намекала она, — вы ожидали за четыре с половиной гинеи в неделю в самый разгар сезона от Женщины, которая должна получать шесть!»

— Ваш обед здесь, — крикнула наверх миссис Крумм отточенно пренебрежительным тоном, приглашая миссис Хас, и затем удалилась по своим делам на кухню, хлопнув за собой дверью.

В комнате снова воцарилась тишина, и мистер Хас услышал шаги своей жены, проходящей через ванную и спускающейся по лестнице.

Миссис Хас была темноволоса, несколько несобранна, приятной наружности, сорока семи лет от роду, со сдержанными манерами женщины, привыкшей обороняться от скрытых обвинений. Она приподняла крышку над блюдом с овощами.

— Мне кажется, пахнет горелым, — сказала она. — Эта женщина просто невозможна.

Она остановилась рядом со своим креслом, молча глядя на мужа.

Он неохотно поднялся и переместился к своему месту за столом. Обычно мясо разрезала миссис Хас, и теперь она собралась положить ему кусок.

— Нет, — сказал он с отвращением, — я не могу есть. Я не могу.

Она положила столовую ложку и вилку, которые только что взяла, и посмотрела на него с мрачным неодобрением.

— Это все, что мы можем здесь иметь, — сказала она.

Он покачал головой:

— Не в этом дело.

— Я не знаю, чего ты еще ожидаешь, чтобы я достала здесь для тебя, — пожаловалась она, — торговцы не знают нас, и им все равно.

— Не в этом дело. Я болен.

— Это от жары. Мы все от нее больны. Каждый. В такую погоду, как эта. Но это не извиняет твое безделье в ситуации, подобной нашей.

— Я хочу сказать, что на самом деле болен. Я страдаю.

Она посмотрела на него, как смотрят на неразумного ребенка, и он вынужден был прибегнуть к более определенным выражениям:

— Я полагаю, что должен был рано или поздно сказать тебе. Я был у врача.

— Не посоветовавшись со мной?

— Я подумал, что если это окажется всего лишь фантазией, то не стоит тебя беспокоить.

— Ну и как ты нашел доктора?

— Здесь есть на углу такой парень… О! Нет

смысла устраивать из всего этого длинную историю. У меня рак… И ничего нельзя сделать, кроме операции.

Жалость к себе скрутила его. Он сдержал отчаянное желание заплакать.

— Я слишком болен, чтобы есть. Мне надо бы лечь.

Она отодвинулась назад в кресле и уставилась на него, как на какое-то ужасное чудище.

— О, — сказала она, — заболеть раком сейчас! В этих комнатах!

— А что я мог сделать? — сказал он чуть не плача. — Я не выбирал время.

— Рак! — укоризненно запричитала она. — Что за ужас!

Он посмотрел на нее с ненавистью. Под ее сдвинутыми бровями он увидел темные, враждебные глаза, которые когда-то сияли любовью, он увидел расслабленный рот с опущенными уголками губ, которые раньше были гордыми и прекрасными, и всю эту маску неприязни, выдающуюся над шеей, которую он привык называть стебельком ее головы, потому что она была подобна стеблю какого-то чудесного цветка. У нее были красивые плечи и дерзкий юмор; но теперь кожа на ее шее и плечах чуть-чуть ослабла, и она больше не

была дерзкой, а лишь грубой и жестокой. Ее лоб покрылся испариной от жары, а волосы растрепались больше, чем обычно. Но все эти наблюдения не увеличили, а скорее смягчили его неприязнь. Эти недостатки не отталкивали, а ранили его, как потери, постигшие их в общем несчастье. Его всегда злили, вызывали жалость и забавляли тщеславие и слабость жены, но сейчас он понял, до какой степени дошла ее эгоистическая отстраненность, и в его сердце поднялась такая жалость и желание защитить ее, что перед ними отступила даже физическая боль. Он с ужасом обнаружил, что ее былая деликатность и нежность совершенно исчезли. У нее не осталось ни сил, ни отваги, чтобы позволить себе хотя бы одну неэгоистическую мысль. А он не мог ничем помочь ей; вся власть, которой он обладал над ее разумом, была давно утрачена. Его магия умерла.

В последнее время он очень много думал о том, что с ней будет, если он умрет. В каком-то смысле его смерть могла обернуться для нее добром. У него была страховка, которая принесла бы ей около семи тысяч фунтов сразу же после его смерти, но требовала значительных ежегодных взносов при жизни. Таким образом, смерть оказалась бы явным выигрышем. Но кто занялся бы

правильным вложением этих денег и обеспечил соблюдение ее интересов? Он знал, что она была глупой в делах, касающихся собственности; подозрительной к людям, которых хорошо знала, алчной и доверчивой к незнакомцам. Он сам был виновником ее некомпетентности и теперь был обязан помочь ей жить и как-то защитить ее, если сможет. Но кроме этого личного и непосредственного резона выжить, он чувствовал, что за ним остается масса не завершенной в этом мире работы, особенно в том, что касалось школы.

Уставившись в далекое темное море и опершись подбородком на руку, он заговорил.

— Операция, — сказал он, — может помочь мне.

Ее мысли, как он начал понимать, тоже бродили сейчас в какой-то разоренной и непривлекательной стране параллельно с его раздумьями.

— Но есть ли нужда в операции? — подумал он вслух. — Будет ли от этого какой-нибудь толк? Я должен умереть, — с горечью признал он и тут же раскаялся в том, что произнес это. Он помнил времена, когда она говорила приятные и любезные слова, бедная душа, бедная сломленная спутница! Но теперь она погрузилась в гораздо более ужасную тьму, чем он. Он боялся,

что причинит ей боль своими словами, и теперь, увидев, что она вовсе не страдает, а напряженно изучает его лицо, словно взвешивая искренность сказанного, ощущение полнейшего одиночества стало абсолютным.

За убогой драмой его боли и унижения, замкнутой в атмосфере, возмущаемой лишь жужжанием мух, словно наблюдало какое-то гигантское и беспощадное существо, склонившееся, как ученый, над полем своего эксперимента, и предопределяло его жизнь и весь его мир. «Ты одинок, — говорил нависший над ним свидетель. — Ты совершенно одинок. Прокляни Бога и умри».

Казалось, прошло немало времени, прежде чем мистер Хас ответил этому воображаемому голосу, а отвечая, он обращался как будто только к своей жене.

— Нет, — сказал он с внезапной решительностью, — нет. Мне предстоит операция… Мы больны, и наши сердца ослабели. Ни для тебя, дорогая, ни для меня эта история не должна окончиться таким образом. Нет. Я обязан пройти все до конца.

— И операцию тебе будут делать здесь?

— В этом доме. Это, безусловно, самое подходящее место в такой ситуации.

— Ты можешь умереть здесь!

— Что ж, я умру, сражаясь.

— И оставишь меня тут одну с миссис Крумм.

От этой реплики терпение его лопнуло.

— И оставлю тебя с миссис Крумм, — сказал он резко и встал. — Я не могу ничего есть, — повторил он и снова угрюмо опустился в свое кресло из конского волоса.

Наступило долгое молчание, а затем он услышал, как тихонько, почти по-мышиному, его жена принялась за еду. На какое-то время он даже забыл о тупой боли, но теперь, вспыхивая, спадая и снова вспыхивая, она снова прокладывала себе путь к его сознанию. Он чувствовал себя беспомощным и растерянным; ему вовсе не хотелось с ней ссориться. Он обидел это бедное создание, свою возлюбленную и спутницу; он напугал ее. Его страдающий мозг не в силах был найти способ, как поправить дело. И он лишь тупым взглядом вперился в ненавистный ему мир.

Глава 3
ТРИ ПОСЕТИТЕЛЯ

1

Как раз в момент этого невеселого разговора, происходившего в Сандеринг-он-Си, трое мужчин весьма серьезно обсуждали дела мистера Хаса за сытным завтраком, к которому, однако, не подавалось мясное. Они сидели в арке окна, выходившего на освещенные солнцем деревья Карлтон-Гарденс.

Им принесли салат из омара, а в чаше для рейнвейна, когда они наполняли свои стаканы, приятно позванивали льдинки. Роль хозяина за столом исполнял сэр Элифаз Берроуз, владелец патента и производитель тех самых теманитовых строительных блоков, которые не только сделали революцию в возведении армейских казарм, но и поставили все сельское и индустриальное строительство на совершенно новую основу; его гостями были мистер Уильям Дэд, в прошлом фабрикант прославленных роскошных автомобилей «Дэд и Шоуайт», а теперь один из главных подрядчиков по производству аэропланов в Англии, и мистер Джозеф Фар, глава технического отделения Уолдингстентонской школы. Оба эти джентльмена были попечителями последнего

учреждения и людьми весьма богатыми, а сэр Элифаз когда-то учился в школе у отца мистера Хаса, и его рекомендации в большой степени были причиной приглашения самого мистера Хаса в Уолдингстентон.

Сэр Элифаз был худой старик с хищной ястребиной головой, держащейся на длинной красной шее. Двухцветные рыже-седые волосы обильно росли вокруг его макушки, на бровях, по всему лицу и на тыльных сторонах ладоней. Под просторным синим саржевым костюмом на нем была синяя же мягкая рубашка с отложным воротничком, и все это в сочетании со свободно распущенным большим черным галстуком намекало на гуманитарную образованность и некоторую утонченность. Его манеры были изысканно вежливы. Мистер Дэд, плотный, живой тип с серебряной сединой, проворно-настороженный в движениях, этакий промышленный фокстерьер из Мидленда, надел к этому завтраку обычный утренний костюм, отличавшийся только бронзово-коричневым жилетом, обшитым светло-коричневой тесьмой. Мистер Фар в своем сером норфолкском фланелевом костюме выглядел довольно крупным мужчиной; у него было большое, круглое, белое, гладко выбритое лицо и

беспокойные руки; было похоже, что в нагрудном кармане у него скрывается записная книжка или похожий на нее предмет.

Три джентльмена с видом ценителей расправлялись с омаром и, обмениваясь обрывочными фразами, осторожно подходили к теме, о которой они собрались здесь поговорить, а именно: о несчастьях, обрушившихся на мистера Хаса, и об их собственном отношении к будущему его школы.

— Что касается меня, то я не думаю, что здесь имело место неудачное стечение обстоятельств, — сказал мистер Дэд. — Я так не считаю. Это явный просчет, если вам угодно.

— В некотором смысле это так… — неопределенно произнес мистер Фар и взглянул на сэра Элифаза.

— Если голова у человека привинчена на месте… — заметил мистер Дэд и с азартом принялся за аппетитную клешню. Мистер Дэд часто использовал в разговоре экономные неполные предложения.

— Я не могу удержаться от мысли, — сказал сэр Элифаз, поставив свой стакан и тщательно вытерев усы и брови, прежде чем покончить со своей порцией омара, — что человек, который, словно

сирота или вдова, передает свои дела адвокату, либо совершенно лишен здравого смысла, либо легкомысленен. Я никогда в своей жизни не встречал адвоката, способного надежно и прибыльно вложить деньги. Это могут церковники разного рода, женщины, дикари, маньяки, преступники… но адвокаты — никогда!

— Я знавал нескольких ловких дельцов среди священников, — рассудительно добавил мистер Дэд. — Особенно один был — ну просто кремень! Эту публику часто недооценивают.

— Совершенно очевидно, — продолжал свои рассуждения сэр Элифаз, — что адвокат не может быть толковым инвестором. Он живет вне реального мира в маленьком грязном офисе при какой-нибудь антикварной правовой конторе, чье оборудование вышло из моды пятьдесят лет назад; его среда обитания состоит из жестяных коробок с намалеванными на них именами умерших или потерявших репутацию клиентов; он вынужден ходить в суд с его огороженными скамьями и людьми, одетыми в мантии и парики из конского волоса, и воспринимать это всерьез. Ему не приходится сталкиваться ни с кем, кроме людей, попавших в ненормальные обстоятельства, людей, объятых завистью или страхом,

людей, подвергшихся шантажу, мошенников, пытающихся скрыться от закона, сумасшедших, сутяг и обойденных наследников. Единственные вложения, которые ему доводится обсуждать, это подозрительные вложения. И естественно, он теряет чувство соразмерности. Естественно, он становится болезненно недоверчивым. И когда клиент просит его предпринять какие-то реальные действия, он путается и впадает в авантюры.

— Это ясно, — согласился мистер Дэд. — И тут мы обнаруживаем, что бедняга Хас передал все свои дела…

— Вот именно, — сказал сэр Элифаз и наполнил свой стакан.

— За последние два года он сильно переменился, — заметил мистер Фар. — Война заставила его терзаться только одной мыслью…

— Нельзя позволять себе такое! — воскликнул мистер Дэд.

— И даже до войны… — вставил мистер Фар.

— Да, заметны были перемены, — сказал сэр Элифаз. — Он увлекся теориями образования.

— Это дело не для директора школы, — заметил мистер Фар.

— Мы всегда хотели создать большую школу

с научно-техническим уклоном, — сказал сэр Элифаз. — А он ввел элементы логики в обычное преподавание английского — вопреки моему мнению. Он приохотил некоторых мальчиков к чтению философских книг.

— Единственное, чего он добился, — сказал мистер Фар.

— Я никогда нс поддерживал его страсть к преподаванию истории, — пожаловался мистер Дэд, — он просто помешался на ней. И чем дальше, тем больше. К счастью, теперь с этим покончено. Но он даже не спорил с нами по этому поводу. Он постоянно подавлял нашу волю. У него была такая манера смотреть… Но мы никогда не собирались превращать Уолдингстентон в историческую школу.

— А теперь, мистер Фар, — спросил сэр Элифаз, — расскажите, что вам известно о пожаре?

— Не мне заниматься критикой в этом вопросе, — ответил мистер Фар.

— Я хочу сказать, — заметил мистер Дэд, изобразив на своей физиономии суровую решимость, — что нужно установить ответственность. Установить ответственность. Здесь имела место запертая дверь, которой по здравому смыслу следовало быть открытой. Кто ответствен за это?

— Насколько мне известно, никто в здании школы персонально не отвечал за эту дверь, — сказал мистер Фар.

— Вся ответственность, — раздраженно настаивал мистер Дэд, словно его нервировала позиция мистера Фара, — вся ответственность, которая никому не делегирована, возлагается на директора. Это жесткое, неизменное и важнейшее правило организации бизнеса. На моей фабрике я сразу же внушаю его каждому, кто туда входит, будь это мужчина или женщина, подросток или ребенок…

Мистер Дэд продолжал приводить примеры кратких, но драматичных диалогов, излагая свой метод передачи полномочий, когда сэр Элифаз прервал этот поток словами:

— Вернемся к нашему мистеру Хасу…

Вопрос, который хотел обсудить сэр Элифаз, заключался в том, собирается ли мистер Хас и далее занимать пост директора Уолдингстентонской школы. Из случайной фразы в письме сэр Элифаз заключил, что такое намерение есть.

— Что ж, — важно сказал мистер Фар, немного помолчав, — если он хочет…

Мистер Дэд только прищелкнул языком и, плотно закрыв рот, нахмурился и медленно покачал

головой из стороны в сторону.

— Я хотел бы прежде всего признать его блестящую работу в первые годы после открытия школы, — сказал мистер Фар. — Я меньше всего стремлюсь изменить направление пути, проложенного им. Однако я заменил бы определенный объем материала по биологии и практически всю эту новую историю химией и физикой. К тому же следует отметить, что мистер Хас не знал, когда следует уступить власть и передать ответственность другим. Мы все, весь персонал — это не просто моя личная обида, — находились у него как бы под опекой. Он скорее бы вообще забросил все дела, чем выпустил бы власть из рук. Тому свидетельство и эта дверь, и дело с медсестрой.

Мистер Дэд, поджав губы, закивал головой, и каждый кивок был подобен удару молотка.

— Я никогда не верил в этот раздутый интерес к истории в нашей школе, — слегка невпопад заметил мистер Дэд. — Если уж вы избавились от латыни и греческого, зачем вводить их снова в другой форме? Зачем, как я уже сказал, он пичкал их всякими сведениями насчет Ассирии? Ассирия! Современная школа должна быть современной школой: прежде всего бизнес — с начала и до конца. И учить мальчиков работать. Вот что

нам нужно, попомните мои слова.

— Некоторые знания о современной культуре не помешают, — махнул рукой сэр Элифаз.

— Современной, — мягко заметил мистер Фар.

— Все эти предметы, по моему мнению, только забивают мальчикам голову ненужными идеями, — проворчал мистер Дэд.

Мистер Фар осторожно направил беседу в надлежащем направлении:

— Научные сведения с правильным учетом их технического приложения должны стать основной частью современного образования…

Они перешли в курительную комнату и успели до половины выкурить свои королевские сигары, прежде чем покончили с мелочным злословием в адрес падшего директора. И тогда мистер Дэд в четком стиле, характерном для делового человека, призвал своих собеседников обсудить предстоящие действия.

— Ну, — спросил их мистер Дэд, — так что мы решим?

— Объявим, что Уолдингстентон должен вступить в новую фазу. То, что произошло, заставляет нас расстаться, — сказал сэр Элифаз, — как бы я ни сожалел о несчастье, постигшем старого друга.

— Это, — резюмировал мистер Дэд, — означает,

что Фар…

— Если он возьмет это бремя на свои плечи, — сказал сэр Элифаз, выражая свое благоволение к мистеру Фару не столько улыбкой, сколько общим поворотом, изгибом фигуры и взмахом своих разноцветных прядей волос.

— Я вовсе не хочу видеть школу в упадке, — отозвался мистер Фар. — Я уже отдал ей добрый кусок своей жизни.

— Правильно, — сказал мистер Дэд, — хорошо. Примите это к исполнению. Это нам подходит. Но как мы устроим все формальности? На следующем этапе нужно сообщить об этом Хасу… Но каким образом?

Он сделал паузу, чтобы дать соображениям своих собеседников равный шанс.

— Что ж, моя идея такова. Никто из нас не хочет быть жестоким с мистером Хасом. Судьба и без того обошлась с ним круто. Мы должны выполнить свою миссию как можно более мягко. Так получилось, что я то и дело наезжаю в Сандеринг-он-Си поиграть в гольф. Там замечательные поля, которые содержатся в образцовом состоянии, а рядом прекрасный большой отель. За всем этим, несмотря на войну, наблюдает железнодорожная компания. Почему бы нам всем, если позволит

занятость сэра Элифаза, не отправиться туда как бы случайно и в добром откровенном разговоре не обсудить наше дело с ним? Мы все равно обязаны это сделать, и мне вообще кажется более уместным приехать туда лично, чем обойтись перепиской. Возможно, мы сумеем представить ему все таким образом, что он сам предложит провести желательные для нас перемены. В частности, вы, сэр Элифаз, будучи, как вы сказали, его старым другом…

2

Поскольку отъезд мистера Хаса из Сандеринг-он-Си был маловероятен, мистер Дэд не посчитал необходимым предупреждать его о намечаемом визите. Таким образом, три джентльмена не узнали ни о какой операции по поводу рака до тех пор, пока сами не прибыли на этот курорт.

Мистер Дэд приехал в пятницу вскоре после полудня и остановился в «Гольф-отеле», где он уже заказал номера для участников игры. Он весьма нуждался в расслаблении на гольфовых полях. Он ставил перед собой задачу накопить душевное равновесие, достаточное, чтобы обеспечить роскошное будущее для британской индустрии, с которой мистер Дэд себя напрямую отождествлял. Здесь требовалось балансировать между Сциллой агрессивного рабочего класса и Харибдой налогов на военные прибыли, и его мозг находился в крайнем напряжении. Мистер Фар присоединился к нему во время обеда, а сэр Элифаз, задержавшийся в Лондоне из-за каких-то переговоров с американским правительством, прибыл на поезде с вагоном-рестораном и поэтому на обед не явился. Мистер Фар отправился на

разведку в «Морской вид» и первым услышал об операции.

Сэр Алфеус Менго должен был появиться в «Морском виде» с первым утренним поездом в воскресенье. Операцию он намеревался провести перед ленчем. Таким образом, стало ясно, что единственным подходящим временем для разговора тройки с мистером Хасом мог быть только промежуток между завтраком и прибытием сэра Алфеуса.

Мистер Хас, вышедший теперь из оцепенения, проявил лихорадочный интерес к предстоящему разговору о школе.

— Есть некоторые вопросы, которые я хотел бы прояснить, — сказал он, — жизненно важные вопросы.

Итак, встреча была назначена на половину десятого. Это давало им целый час до прибытия докторов.

— Он воспринимает это так, словно ему предстоит сделать, так сказать, завещание, — заметил мистер Фар. — Естественно, у него свои собственные идеи по поводу будущего школы. Как и у всех нас. Я не осмелюсь утверждать, что любые его высказывания относительно Уолдингстентона не заслуживают нашего внимания. Некоторые

из нас, возможно, слышали большую часть этих идей раньше и могли бы высказаться скептически при оценке его суждений. Но при нынешних обстоятельствах это совсем некстати.

3

Дела на ограниченном пространстве «Морского вида» сложились далеко не так напряженно, как этого опасался мистер Хас. Перспектива операции не лишена была приятности для миссис Крумм. Возможно, она предпочла бы, чтобы хирургическому вмешательству подверглась миссис Хас, а не мистер Хас, но ясно было, что хозяйка не могла претендовать на право выбора в данном случае. Ее требование дополнительной платы за неуместность этого случая было встречено мистером Хасом довольно спокойно. И тут он по достоинству смог оценить стремление к порядку и методичность миссис Крумм; она с бешеной скоростью провела генеральную уборку, подобно урагану раскидала все вещи по местам; беспорядочное состояние прически мистера Хаса вызвало у нее отношение столь же безотчетное, как расовая ненависть, а расторопные действия медсестры, которая явилась, чтобы превратить ее лучшую спальню в операционную, произвели на нее глубокое впечатление. Ей было дозволено оказать посильную помощь. Лишняя мебель и драпировки были удалены, все вычищено с

помощью щетки, а в последний момент на все открытые поверхности следовало накинуть чистые холщовые простыни исключительной прочности. Их должны были доставить в стерилизованных барабанах. Идея стерилизованных барабанов зачаровала ее. Она никогда раньше не слышала о подобных вещах. Ей захотелось всегда держать свое собственное белье в стерилизованных барабанах, а жильцам предложить какое-нибудь другое взамен.

Она ощущала себя кем-то вроде помощницы жреца на церемонии, где приносился в жертву мистер Хас. Она все время втайне боялась его смиренного спокойствия, считая, что это непонятное явление может в любой момент обратиться против нее; она подозревала его в ироническом отношении к ее персоне. И вот теперь, под хлороформом, он будет беспомощен, он станет предметом исследований и лишится возможности смутить ее остроумным ответом. Она изо всех сил старалась убедить доктора Баррака в том, что может оказаться полезной в комнате во время операции. Ее воображение рисовало чудесную картину вскрытого мистера Хаса в виде большого ящика, полного странных и интересных внутренних органов, крышка кото-

рого широко открыта, в то время как сэр Алфеус с уничижительными репликами задумчиво ковыряется в его содержимом.

В субботнее утро она была очень бодра и полезна, стараясь поддержать мистера Хаса и ободрить миссис Хас. Она приняла участие в окончательном преображении комнаты.

— Получилось как в настоящем госпитале, — сказала она. — Работа медсестры в самом деле очень приятна. Я никогда раньше так не думала.

Мистер Хас больше не страдал от депрессии, лицо его раскраснелось, он был полон решимости, но миссис Хас, уязвленная всеобщим невниманием к ней — никто ни на минуту не задумался над тем, что она должна была переживать, — по большей части оставалась в своей комнате, безуспешно пытаясь шить траурное платье, которое теперь могло стать вдвойне необходимым.

4

Мистер Хас очень хорошо знал мистера Фара. В последние десять лет он всерьез собирался избавиться от него, но найти ему замену было затруднительно, учитывая его реальные достижения в области технической химии. За те пять минут, которые они провели в пятницу утром за разговором в его спальне, мистер Хас оценил ситуацию. Его творение, дело всей его жизни, Уолдингстентон, должен быть забран из его рук и передан этому, самому тупому его ассистенту. Он был, без сомнения, глуп, но ничто не предвещало такого шага с его стороны. Хас никогда не думал, что Фар сможет на это отважиться. Он много передумал в пятницу ночью. Боль не отвлекала его. И когда посетители прибыли, его намерения были ясны и полностью сложились в его мозгу.

Он настоял на том, чтобы подняться и встретить их полностью одетым.

— Я не могу говорить об Уолдингстентоне, лежа в постели, — сказал он. Доктор не стал перечить ему.

Сэр Элифаз появился первым, и миссис Хас оторвала его в коридоре от миссис Крумм и провела в

комнату. Он был одет в норфолкский пиджачный костюм из грубой волосатой ткани шалфейно-зеленого цвета. При виде миссис Хас он просиял.

— Я не мог не думать о вас, дорогая леди, — промолвил он, склонившись над ее рукой, и все его волосы на момент приняли печальный и сочувствующий вид, как у больного скайтерьера.

Мистер Дэд и мистер Фар вошли минутой позже; на мистере Фаре были серые фланелевые брюки и коричневый пиджак, а мистер Дэд нарядился в изящный темно-серый костюм с блестящим пурпурным жилетом.

— Дорогая, — сказал мистер Хас, обращаясь к жене, — я должен поговорить с глазу на глаз с этими джентльменами, — и, видя, что ей не хочется расставаться с понимающей теплотой сэра Элифаза, добавил: — Цифры, моя дорогая, финансы, — и повел ее к двери.

— Клянусь честью, — сказал мистер Дэд, подходя вплотную к креслу, наморщившись и пытаясь в деловом стиле предварить переход к более суровым проблемам, — мне не нравится видеть вас таким, мистер Хас.

— И сэру Элифазу, конечно, и, надеюсь, мистеру Фару. Прошу вас, займите кресла.

И в то время, как мистер Фар издавал протесту-

ющие звуки, а сэр Элифаз мотал своими волосами перед тем, как начать маленькую речь, которую он приготовил, мистер Хас перехватил у них инициативу и начал сам:

— Я отлично знаю ту задачу, которую вы поставили перед собой. Вы приехали, чтобы положить конец моей карьере в качестве директора Уолдингстентона. И мистер Фар был очень любезен… — Он поднял свою белую изможденную руку, видя, что мистер Фар делает протестующий жест. — Нет! — воскликнул мистер Хас. — Но, прежде чем вы, трое, продолжите свое дело, я хотел бы сообщить вам кое-что о том, чем являются для меня эта школа, моя работа в ней и моя работа для системы образования в целом. Мне сейчас чуть больше пятидесяти лет. Месяц назад я с разумной уверенностью думал еще о двадцати годах работы, предстоящих мне, прежде чем я уйду на покой… И тут все эти несчастья посыпались на меня. Я потерял всю свою личную независимость; произошли эти ужасные смертные случаи в школе; мой сын, мой единственный сын… убит… Горе затмило любовь и сердечность моей жены… а теперь мое тело страдает так, что мой разум стал подобен пловцу, борющемуся с волнами боли… вдали от берега… Это были тяжелые удары. Но

самым тяжким ударом, который мне труднее перенести, чем любой из остальных — я говорю не опрометчиво, джентльмены, я обдумал свои слова в течение бесконечной ночи, — последним ударом явится этот отказ в работе всей моей жизни. Он поразит меня в самое сокровенное место, он разобьет мое сердце и мою душу…

Он сделал паузу.

— Вы не должны так воспринимать это, мистер Хас, — запротестовал мистер Дэд. — Было бы нечестно по отношению к нам истолковывать все таким образом.

— Я хочу, чтобы вы выслушали меня, — сказал мистер Хас.

— Только из самых доброжелательных намерений… — продолжил мистер Дэд.

— Позвольте мне сказать, — прервал его мистер Хас тем властным голосом, которым он управлял Уолдингстентоном в течение двадцати пяти лет. — Я не могу возражать и пререкаться. Ведь у нас самое большее — час времени.

Мистер Дэд издал звук, похожий на тот, который вырывается у собаки, собравшейся залаять в ответ на приказ убираться под стол. Некоторое время у него был вид человека, с которым обошлись несправедливо.

— Покончить с моей работой в этой школе, значит, покончить со мной... Я не понимаю, почему бы мне не сказать об этом откровенно вам, джентльмены, в той ситуации, в которой я нахожусь. Я не понимаю, почему бы на этот раз мне не поговорить с вами моим собственным языком. Боль и смерть сейчас наши собеседники. Это редкая, жестокая и кровавая ситуация. Через час или около того женщины, может быть, обмоют мое тело и я, возможно, умолкну навсегда. Я скрывал мою религию, но зачем мне скрывать ее теперь? В ваших глазах я всегда старался выглядеть человеком практичным и своекорыстным, но втайне я всегда оставался фанатиком; и Уолдингстентон был тем алтарем, на котором я посвящал себя Господу. Я действовал там дурно и немощно, теперь я это знаю, я был ленив и опрометчив, в этом состояла моя слабость; но я сделал все, что мог. В меру своих сил и знаний я служил Богу. А теперь, в этот час тьмы, где этот Бог, которому я служил? Почему он не станет здесь и не отведет этот последний удар, который вы хотите нанести работе, посвященной ему мною?

Услышав это, мистер Дэд с ужасом посмотрел на мистера Фара.

Но мистер Хас продолжал, словно беседуя сам

с собой:

— Ночью я заглянул в свое сердце. Я хотел найти там главные мотивы и тайные грехи. Я подверг себя суду, чтобы узнать, почему Бог прячется от меня теперь, и я не нашел ни причины, ни оправдания… И в горечи моего сердца я испытал искушение поддаться вам и сказать вам, чтобы вы забрали школу и делали с нею все, что захотите… Близость смерти делает знакомые вещи и воспоминания пережитого хрупкими и нереальными, а намного более реальной для меня стала тьма, нависшая надо мной, как напасть иногда нависает над миром в полдень. Она день и ночь издевается надо мной и непрерывно требует, чтобы я проклял Бога и умер… Так почему же я не возвожу хулу на Господа и не умираю? Почему я цепляюсь за свою работу, когда Бог, которому я посвятил ее, — молчит? Полагаю, только потому, что я надеюсь на какой-то знак утешения. Потому что я пока еще не окончательно повержен. Я мог бы и далее рассказывать вам о том, почему я хочу продолжать в Уолдингстентоне свою прежнюю линию и почему это будет что-то наподобие убийства — передать школу в руки Фара. И пусть моя боль была бы в десять раз сильнее, чем она есть…

При упоминании своего имени мистер Фар вздрогнул и посмотрел сначала на мистера Дэда, а затем на сэра Элифаза.

— Действительно, — сказал он, — действительно, можно подумать, что я устроил заговор…

— Боюсь, мистер Хас, — произнес сэр Элифаз, жестом успокаивая технического директора, — что предложение кандидатуры мистера Фара в качестве вашего преемника впервые исходило от меня.

— Вы должны пересмотреть это решение, — сказал мистер Хас, облизывая губы и неподвижно глядя перед собой.

В этот момент в разговор вмешался мистер Дэд и недовольным тоном спросил:

— Но можете ли вы, мистер Хас, обсуждать подобную проблему в вашем лихорадочном и болезненном состоянии?

— Я вряд ли буду в лучшем расположении духа для этой дискуссии, — сказал мистер Хас. — И вот почему я должен теперь сказать вам о школе: Уолдингстентон, когда я пришел туда, был банальным учебным заведением для примерно семидесяти мальчиков, где занятия велись по устаревшей рутинной программе. Там давалось немного латыни, еще меньше греческого, глав-

ным образом для того, чтобы иметь возможность об этом греческом упомянуть; кое-какие обрывочные сведения по математике и английская история — не история человечества, замечу вам, а национальный ее суррогат, срезанные сухие цветы из прошлого, без корней и значения, — а также поверхностный курс французского… И это было практически все — в сущности, не образование, а всего лишь имитация, поза. А к нынешнему времени чем стала эта школа?

— Мы никогда не скупились ни на деньги для вас… — сказал сэр Элифаз.

— Ни на преданность и поддержку, — добавил мистер Фар, но сказал это полушепотом.

— Я никогда не думал об ее показном процветании. Корпуса, лаборатории и музеи, выросшие вокруг этого ядра, сами собой не представляют ничего. Реальная суть школы не в зданиях и цифрах, но в деяниях души и мысли. Уолдингстентон стал факелом, огонь которого поддерживали пылающие людские души. Я зажег там свечу — ветры судьбы могут раздуть ее в мировое пламя.

Когда мистер Хас произносил эти слова, его охватил такой энтузиазм, что боль словно исчезла из его сознания.

— Что, — продолжал он, — является задачей

учителя в этом мире? Это одна из величайших человеческих задач. Она состоит в том, чтобы создать в душах людей условия для роста Человека Божественного. Что такое человек без наставления? Он был рожден, как рождаются звери, он — воплощение алчной самовлюбленности, всезахватывающего вожделения, он игрушка страстей и страхов. Он не может рассматривать ничего иначе, как в отношении к себе самому. Даже любовь для него — добыча; и даже самое огромное усилие для него — бесплодно, потому что он обречен умереть. И только мы, учителя, — единственные, кто может отвлечь его от этой сосредоточенности на своей персоне. Мы, наставники… Мы можем ввести его в более широкий круг идей, расположенный вне его, и там он сможет забыть о себе самом и о своих худосочных, убогих внутренних целях. Мы можем открыть ему глаза на прошлое и будущее и на бессмертие Человека. Так через нас, и только через нас, он получит избавление от смерти и бренности. Необразованный человек сам по себе одинок, так же одинок в его устремлениях и предназначении, как любое животное, а человек, получивший наставление, освобождается из тесной тюрьмы собственного «я» для участия в неугасающей

жизни, которая началась неизвестно когда, и непрерывно растет все выше, и перерастает величие звезд…

Он говорил так, словно обращался не к этим троим, а к какому-то другому слушателю. Мистер Дэд, подняв брови и сжав губы, молча кивнул мистеру Фару, как бы подтверждая, что худшие его предположения подтвердились, и всей своей мимикой подал сигнал сэру Элифазу, чтобы тот вступил в разговор. Однако мистер Хас продолжал свою речь:

— Двадцать пять лет я руководил Уолдингстентоном, и все это время я открывал глаза слепым. Я привил способность к пониманию нескольким тысячам мальчиков. Все мертвые, рутинные процессы обучения нам удалось оживить в нашей школе. Мои мальчики изучали историю человечества так, что она становилась их личным приключением; они учили географию так, будто мир находится в их распоряжении; языки у меня преподавались так, чтобы прошлое для них снова стало живым и чтобы в их душах открылись окна в души других народов. Наука играла здесь надлежащую ей роль, она вводила моих учеников в тайники природы и сопровождала в пути среди туманностей… Я всегда держал Фара с его поис-

ками выгоды в соответствующем подчиненном положении. Некоторые из бывших моих учеников уже сделались хорошими бизнесменами — потому, что они стали больше, чем просто деловыми людьми… Но я никогда не собирался делать из них бизнесменов и никогда этим заниматься не буду. Мои мальчики пришли в определенные профессии, они заняли должности, они вышли в широкий мир и хорошо справились со своими делами — среди них были тупые и упрямые ребята, но почти все они вышли в мир джентльменами с хорошими манерами, широко мыслящими, понимающими и не эгоистичными. Хозяевами себе, слугами людям, потому что вся схема их образования была направлена на то, чтобы освободить их от низменных и узких стремлений… Когда началась война, мои мальчики были готовы… Они встретили свою смерть — скольких из них она забрала! Мой собственный сын оказался в их числе… Я не пожалел и его… Уолдингстентон — новая школа; ее традиции едва зародились; список ее выпускников так опустошен, что ее юные традиции вянут, как подрытая рассада… Но мы еще можем поддержать их, взрастить эти традиции, если мое пламя не угаснет. Но для этого обучение должно продолжаться так, как я его

запланировал. Так должно быть. Так должно… То, что сделало моих мальчиков такими, какими они стали, — это история, биологические науки и философия. Потому что в этих предметах заключена мудрость. Все остальные — это воспитание и накопление знаний. Если эта школа должна жить, то ее директор по-прежнему должен быть человеком, который может учить истории — истории в широчайшем смысле; он должен быть философом, биологом и археологом, так же как и гуманитарием. А вы хотите возложить эту задачу на Фара! Фар! Фар никогда даже не прикасался к сущности работы школы. Он не знал, что это такое. Его ум не более открыт для такой цели, чем у профессионального крикетиста.

Мистер Дэд нетерпеливо кашлянул.

Больной человек продолжал, горящими глазами уставившись на Фара, кровь отлила от его губ:

— Он рассматривает физику и химию не в качестве помощи в понимании мира, а в качестве помощи в торговле. Все время, пока он был в Уолдингстентоне, он тайком работал с нашими материалами в наших лабораториях, мечтая получить выгодный патент. О, я знаю вас, Фар! Вы думаете, что я нс видел, потому что я не жа-

ловался? Если бы он запатентовал какое-нибудь выгодное открытие, он бросил бы преподавание в тот же самый день. Он стал бы тогда таким же, как вы. Но со своим безжизненным воображением он даже не способен был изобрести вещь, которую можно было бы запатентовать. Время от времени он мог говорить с учениками об империи, но эта империя была для него не более чем коммерческий заговор, огражденный забором из тарифов. Все это ни к чему не может привести… Но он думает, что мы сражаемся с германцами, он думает, что мой драгоценный сын отдал свою жизнь и что все эти другие храбрые мальчики, погибшие без числа, послужили тому, чтобы мы могли занять место германцев в качестве торговцев — грабителей Европы. Такова мера его разума. Ему чужды религия, вера, самопожертвование. Почему он хочет занять мое место? Потому, что он хочет послужить делу, как служил я? Нет! Только потому, что завидовал моему дому, моему доходу, моей директорской должности. Умру ли я или останусь жив, невозможно, чтобы Уолдингстентон, мой Уолдингстентон оказался в его руках. Отдайте ему школу, и она незамедлительно умрет.

5

— Джентльмены! — запротестовал бледный, вспотевший мистер Фар.

— Я не представлял себе, — вырвалось у мистера Дэда, — я не имел понятия, что дело зашло так далеко.

Сэр Элифаз движением руки призвал своих компаньонов утихомириться; он осознал, что пришло время ему сказать свое слово.

— Это достойно сожаления, — начал сэр Элифаз.

Он ухватился руками за сиденье своего кресла, словно желая крепко удержаться на нем, и пристально уставился на горизонт, как будто пытался расшифровать какую-то отдаленную надпись.

— Вы задали тон этой дискуссии, — выдавил он из себя.

Это удалось ему с третьей попытки.

— Для меня исключительно тяжело слушать такое, тем более что, находясь на самом краю Великой бездны, подобало бы говорить в более сердечных и сочувственных тонах. Однако в мою обязанность, в наши обязанности, вменяется твердо держаться тех принципов, которыми

мы всегда руководствовались, будучи членами правления Уолдингстентонской школы. Должен заметить, вы с исключительной самоуверенностью высказались об учреждении, в которое все мы, здесь присутствующие, в какой-то мере внесли свой вклад. Вы говорите так, будто вы, и только вы, были его творцом и руководителем. Простите меня, мистер Хас, но я напомню вам факты, достоверную историческую правду. Эта школа, сэр, была основана в отдаленные времена королевы Елизаветы, и многие добросовестные люди управляли ее имуществом вплоть до того периода, когда, к несчастью, отток пожертвований привел к временному прекращению се работы. Комиссия по делам благотворительности после расследования возродила ее примерно пятьдесят лет Назад, с помощью щедрого денежного вклада Гильдии Бумагоделателей, в которой я и Дэд имеем честь состоять. Это и привело к подчинению школы вам. Я не хотел бы испортить вам настроение в момент, когда вы больны и встревожены, но я обязан напомнить вам об этих обстоятельствах, сделавших вашу работу возможной. Как вы не смогли бы изготовить кирпичи без соломы, так вы не смогли бы построить Уолдингстентон без денег, полученных путем той самой коммерции,

к которой вы высказали столь незаслуженное отвращение. Мы, презренные обыватели, были теми, кто сажал для вас цветы, кто поливал их…

Мистер Хас собрался было что-то сказать, но не вымолвил ни слова.

— То же самое говорю и я, — подхватил мистер Дэд, обратившись за подтверждением к мистеру Фару. — Школа, по сути, является современным коммерческим училищем. Так она и должна функционировать.

Мистер Фар, побледнев, кивнул, не сводя глаз с сэра Элифаза.

— Мне следовало быть осмотрительным, — сказал тот, — говоря о наших личных вкладах в общее дело при таких серьезных обстоятельствах, но поскольку вы сами, мистер Хас, захотели этого, поскольку вы затеяли дискуссию…

Он повернулся к своим коллегам, как бы ожидая от них поддержки.

— Продолжайте, — сказал мистер Дэд. — Факты есть факты.

6

Сэр Элифаз прокашлялся и продолжил, словно читая надпись на горизонте:

— Я поднял эти вопросы, мистер Хас, только для начала. Суть того, о чем я должен сказать, лежит глубже. Я коснулся ваших высказываний, имеющих отношение только к нам; вы признаете единственно свою правоту, вы пренебрегаете нашими ничтожными суждениями, вы отметаете их прочь; школа должна продолжать вашу линию, обучение должно следовать вашей схеме. Вы не можете представить себе, что возможно противоположное мнение. Бог не позволяет мне сказать хотя бы одно слово в свою защиту; я щедро отдавал как мое время, так и средства ради нашей школы; это могли бы подсчитать мои секретари и показать, сколько именно, но я не жалуюсь… Вовсе не жалуюсь…

Но позвольте мне перенести всю эту дискуссию на более широкую и более серьезную почву. Ведь вы бросили обвинение не только нам и нашим ничтожным замыслам. Удивительные слова вырвались из ваших уст, мистер Хас, во время этого спора, такие вещи мне больно и странно было

услышать от вас. Вы говорили о неблагодарности не только человеческой, но и о Божеской. Я не поверил своим ушам, но вы на самом деле сказали, что Бог молчит, что от него нет никакой помощи и что он покинул вас, несмотря на похвальные усилия с вашей стороны… Стоя, как и вы, на самой грани Великой Тайны, я хочу попросить вас отказаться от всего, что вы сказали.

Сэр Элифаз, похоже, глубоко задумался. Он, словно парящий стервятник, повернулся к своей жертве.

— Я далек от того, чтобы выставлять свои религиозные чувства перед кем бы то ни было… Я вовсе не демонстрирую их. Многие люди считают меня скорее неверующим. Но здесь я вынужден исповедаться. Я многим обязан Богу, мистер Хас…

Он сердито посмотрел на больного и на минуту ослабил хватку на сиденье кресла, чтобы сделать жест когтем своей хищной волосатой лапы.

— Ваше отношение к почитаемому мною Богу явилось для меня гораздо более глубоким оскорблением, чем мог оказаться простой личный выпад. Под его карающими ударами, подвергшись испытаниям, которые более скромные души перенесли бы с благодарностью и вос-

приняли бы как уроки и предупреждения, вы проявили себя более гордым, более самонадеянным, более — своевольный не самое жесткое для этого слово, — более своевольным, мистер Хас, чем даже в те дни, когда мы привычно раздражались в день Основателя в Большом Зале, а вы диктовали нам, что помещение надо расширить и сделать в нем музей или картинную галерею и так далее, не оставляя места для других мнений, рассматривая наши дары как обязанность… Вы не различали достоинство даров и милостей людских и Божеских… Неужели вы не видели, дорогой мой мистер Хас, насколько ложной была ваша позиция? И об этой точке зрения я хочу поговорить с вами теперь. Бог не поражает человека без необходимости. Весь этот мир — его огромный замысел, и ни один воробей не упадет на землю, если Он не пожелает, чтобы воробей упал. Неужели ваше сердце так уверено в себе? И неужели то, что произошло, никак не убедило вас в том, что в вашем поведении и руководстве Уолдингстентоном было что-то, делавшее их не совсем приемлемыми в качестве жертвы Богу, как вы себе это воображали?

Сэр Элифаз сделал паузу с видом, будто предоставляет мистеру Хасу его шанс, но, не добившись

ответа, продолжил:

— Я старый человек, мистер Хас, и я много повидал в этом мире, и особенно в мире финансов и промышленности, мире быстро меняющихся возможностей и внезапных искушений. Я наблюдал за карьерами многих незаурядных молодых людей, у которых создалось впечатление, что мир давно ждал их. Я видел возникновение стольких обществ, структур и предприятий, больших и просто грандиозных, что не в состоянии их все припомнить. Развитие Уолдингстентона из школы торгового городка, живущей на пожертвования, было для меня второстепенным случаем, каникулярным заданием, побочным эпизодом на сцене, полной действующих лиц. Мой опыт был более масштабным. Значительно более масштабным. И за все время я не видал, чтобы по-настоящему здравомыслящий человек погиб или чтобы простодушный торговец разорился при условии, если он принял самые обычные меры предосторожности. Взлеты и упадки, без сомнения, имеют место, как среди лучших людей, так и среди худших. Я видел, как на время укоренялись дураки, — но это только на время. Я наблюдал за маневрами некоторых исключительно хитрых людей…

Сэр Элифаз медленно покачал головой из стороны в сторону, и его шевелюра заколыхалась над ним.

Немного поколебавшись, он решил побаловать своих слушателей отрывком из своей биографии.

— Совсем недавно, — начал он, — к нам пришел один парень как раз в тот момент, когда мы запускали на полную мощность нашу фабрику. Это был внушающий доверие, молодой, энергичный американский армянин. Ну, он каким-то образом узнал, что мы собираемся использовать каолин из полевого шпата, побочный продукт нового процесса получения поташа, и полагал, что промывка лондонской глины, как он нас заверил, даст каолин вполне пригодный для наших целей и в десять раз дешевле, чем из норвежского сырья. Это могло бы сократить нашу исходную цену примерно на тридцать процентов. Не учитывая даже тоннаж. Извините меня за эти технические детали. С этой точки зрения все выглядело совершенно замечательно. Но дело было в том, что я все знал о его сырье, которое содержало известное количество серы и не давало возможности получать стойкие строительные блоки. Это не могло помешать нам использо-

вать это сырье достаточно эффективно. Мы не обязаны были об этом знать. Никто не смог бы возложить на нас ответственность. Дело было столь простым и безопасным, что, признаюсь, я почувствовал сильное искушение. И тут, мистер Хас, вмешался Господь. Я получил тайный знак. Я хочу рассказать вам об этом с полной верой и искренностью. Ночью, когда весь мир глубоко спал, я проснулся и ощутил сильнейший страх; меня всего трясло. Я сел на кровати и потянулся к выключателю; волосы у меня встали дыбом. Я ничего не видел и не слышал, но я почувствовал, будто некий дух пронесся перед моим лицом. И, несмотря на полное молчание, казалось, кто-то произнес, обращаясь ко мне: «А как насчет Бога, сэр Элифаз? Вы окончательно забыли о нем? Как сможете вы, живущие в домах из глины, основою коей является прах, избежать суда его?» И это было все, мистер Хас, только и всего. «Основою коей является прах!» Прямо в точку. Да, мистер Хас, я человек не религиозный, но я выкинул этого армянина вон.

Мистер Дэд издал звук, обозначавший, что он поступил бы точно так же.

— Я упомянул об этом переживании — и оно не единственное из тех, о которых я мог бы по-

ведать, — потому что хочу, чтобы вы разделили мою точку зрения, что, если предприятие, даже такое благородно задуманное и честно исполненное, как Уолдингстентонская школа, начинает рушиться и увядать, это означает, что каким-то образом где-то вы заложили в него непригодный сорт глины. Это означает не то, что Бог не прав и отступился от вас, но то, что вы не правы. Вы, может быть, мистер Хас, великий и знаменитый учитель, но вовсе не из-за того пьедестала, который вы для себя построили. Бог все-таки более великий и более знаменитый учитель. Его вы явно не смогли убедить, даже если бы вам и удалось убедить нас в нынешнем совершенстве Уолдингстентона… И это практически все, что я обязан был сказать. Когда мы со всей смиренностью предлагаем повернуть школу на новый и менее претенциозный путь, а вы противостоите нам, то наш ответ таков. Если бы вы действовали так верно и мудро, как вы провозглашали, вы не оказались бы в таком положении и эта дискуссия никогда бы не состоялась.

Наступило молчание.

— Сказано правдиво и с достоинством, — заметил мистер Дэд. — Вы выразили мое мнение, сэр Элифаз, лучше, чем я смог бы это сделать сам.

Благодарю вас.

Он коротко прокашлялся.

7

— Вопрос, который вы поставили, я задавал себе и сам, — сказал мистер Хас, на минуту глубоко задумавшись. — Нет, я не чувствую себя виноватым в греховных действиях. Я по-прежнему верю, что работа, которой я себя посвятил, была правильной по духу и намерениям, верной по своему плану и методике. Вы призываете меня сознаться, что вера моя разбита и обратилась в прах, но моя вера прочна как никогда. Бог — в моем сердце, во всяком случае, в моем сердце присутствует Бог, который всегда вел меня к добру и ведет сейчас. Совесть моя чиста. И те несчастья, о которых вы говорите как об испытаниях и предупреждениях, для меня — только необъяснимые бедствия. Они ошеломили, но не запугали меня. Они поразили меня, как бессмысленные и несообразные события.

— Но это ужасно! — потрясенно воскликнул мистер Дэд.

— Вы подтолкнули меня, сэр Элифаз, от дискуссии о делах нашей школы к более фундаментальным вопросам. Вы подняли проблему морального управления миром, проблему, которая угнета-

ет мой мозг с момента моего прибытия сюда, в Сандеринг, хотя действительно, неудача — это осуждение, а успех — солнечный свет Божьего одобрения. Вы верите, что великий Бог звезд, океанов и гор внимательно следит за нашим поведением и реагирует на него. Его чувство правоты то же самое, что и наше; он разделяет общие стремления. И ваше процветание — не что иное, как знак вашей гармонии с этим верховным Богом.

— Я бы не стал заходить так далеко, — вмешался мистер Дэд. — Нет. Не столь высокомерно.

— А мои неудачи демонстрируют его неодобрение. Хорошо, я поверил в это; я поверил, что правота совести директора школы должна быть тем же самым, что и правота судьбы, я так же подпал под успокаивающее воздействие теории процветания; но сокрушительные события, которые со мной приключились и привели, согласно вашим утверждениям, к погибели всех результатов и самого значения моей жизни, поставили передо мной фундаментальный вопрос: имеет ли этот порядок Великой Вселенной, этот Бог звезд, какое-нибудь отношение к проблемам нашей совести и интересуют ли его усилия человека поступать правильно? Этот вопрос взывает ко

мне из глубины веков. Поскольку я всегда считал себя христианином…

— Ну, и я, надеюсь, тоже, — заметил мистер Дэд, — принимая во внимание время основания школы.

— И поскольку я принимаю это, вера выражается для меня в том, что Бог присутствует в наших сердцах, един с вселенским Отцом и одновременно с его возлюбленным сыном, порожден от его всеохватывающего отцовства и распят лишь ради того, чтобы победить. Он вошел в наши ничтожные жизни, чтобы возвысить их в конце концов до Себя. Но веровать — это значит верить в значительность и непрерывность всех усилий человечества. Жизнь человека должна быть подобна бесконечному распространению пламени. Если добро и зло безразлично уничтожают друг друга, если здесь царит бесцельное и бесплодное страдание, если оно не открывает надежды на вечную жизнь вследствие всех наших добрых поступков, то, значит, нет смысла в такой религии, как христианство. И это всего лишь суеверие, поддерживаемое священниками и их жертвоприношениями. Я читал о таких вещах, которых никогда не было в действительности. И тусклый свет нашей веры горит на ветру во

мраке, который не увидит рассвета.

— Нет, — сказал сэр Элифаз. — Нет. Если Бог присутствует в вашем труде, мы не сможем разрушить его.

— Но вы делаете для этого все возможное, — заметил мистер Хас, — и теперь я не уверен, что вы потерпите неудачу. Одно время я готов был поручиться, что вам это не под силу, но теперь у меня нет такой уверенности… Я просидел здесь несколько безотрадных ужасных дней и пролежал без сна столько же бесконечных ночей; я успел подумать о многих вещах, которые люди в дни своего процветания предпочитают выбрасывать из головы, и теперь я больше не уверен в доброте мира без нас или в запланированности Судьбы. Хотя я знаю, что только в глубине наших сердец мигает огонек Божьего света — и мигает ненадежно. И если мы представляли Бога в чем-то похожим на нас, но правящим Вселенной, то на самом деле, может быть, нет ничего, кроме черной пустоты и холода, худшего, чем сама жестокость?

Мистер Дэд собрался прервать его, но удержался ценой большого усилия.

— В творениях пиетистов общим местом является утверждение, что естественная природа

вещей совершенна и что весь живущий мир, если бы не грешная суть человека, был бы совершенен, — продолжал мистер Хас. — Как вы помните, сэр Элифаз, Пэйли в своих «Доказательствах христианства», над которыми мы оба страдали, провозглашает, что наша Земля демонстративно создана для счастья чувствующих существ, поселенных на ней. Но я предлагаю вам на минуту бесстрастно задуматься, не является ли жизнь на всех ее стадиях, включая и человека, системой неудобств и попросту убожеством?..

8

— Может быть, мы выберемся на минуту из всех этих наших глубин? — взорвался мистер Дэд. — К чему во всем этом копаться?.. Какая нам от этого польза? Поможет ли это нам хоть в малейшей степени? Зачем нам влезать в такие вещи? Почему мы не можем быть скромнее и не оставим эти глубокие вопросы тем, кто занимаются ими профессионально? Мы не ориентируемся в таких проблемах. Да нам и не до того. Вот, к примеру, вы и мистер Фар, оба вы, так сказать, профессиональные наставники и все свое время проводите в школе; вот сэр Элифаз, день и ночь старающийся создать простые, дешевые и удобные дома для людей, которые, увидев его случайно, и спасибо-то ему не скажут; а взять меня — я просто перегруженный работой инженер, да еще при моих неукомплектованных штатах, не говоря об ужасных, просто невозможных запросах, которые рабочие выдвигают, так что просто не знаешь, на каком свете находишься и чего в следующий раз они с тебя потребуют. И вот посреди этой неразберихи мы затеваем перепалку по поводу Божьей доброты! Мы же все так заняты, мистер

Хас! Что мы можем знать о мире, являющемся системой неудобств и всего этакого? К чему мы тут приходим? В чем здесь практическая ценность? Слова! Все это — слова и уход от прямого и определенного вопроса, который мы пришли обсудить, принять решение и действовать согласно с ним. Такая беседа, должен признать, доставляет мне неудобства. Дайте мне Библию и ту простую религию, которой я обучался на коленях моей матери. Этого для меня вполне достаточно. Разве мы не можем попросту верить и оставить все эти вопросы в покое? Что такое люди на самом деле? Черви. Всего лишь черви. Что ж, тогда давайте сделаем все, что в наших силах, находясь в том жизненном статусе, в который нас заблагорассудилось призвать Господу. Вот что я скажу, — заявил мистер Дэд. Он откинул голову назад, резко откашлялся, поправил галстук и решительно кивнул мистеру Фару. — Коммерческое и техническое обучение, — добавил он в манере разъяснительной сноски. — Вот это нас устраивает.

9

Мистер Хас некоторое время смотрел на мистера Дэда отсутствующим взглядом, а затем продолжил свою речь:

— Давайте посмотрим честно и прямо на окружающий нас мир. Какова истинная участь жизни? Есть ли хотя бы малейшее основание для уверенности, что наши представления о справедливости и счастье отражены где-либо во внешнем мире? Много ли в нем хотя бы, к примеру, животного счастья? Является ли здоровье и благополучие нормальным состоянием для животных?

Он сделал паузу. Мистер Дэд поднялся и стал перед окном, повернувшись спиной к мистеру Хасу.

— Вы растягиваете природу по кускам, — бросил он через плечо. Затем обернулся и продолжил горьким ворчливым тоном: — Допустим, что дело обстоит именно так, но что толку от нашего внимания к этой теме? В чем польза?

— Недавно, перед тем как окончательно слечь, — сказал мистер Хас, — я прогулялся позади этого дома. Перед тем как отправиться, я

чувствовал себя очень слабым, но в то же время испытывал непреодолимое желание покинуть окружающих меня людей, сбежать из этой жалкой комнаты и подумать в обстановке, где никто бы меня не потревожил. Снаружи день предательски манил меня обилием солнца и бризом. Я слышал о роще, расположенной примерно в миле от моря, и это вызывало у меня видение прохладной зеленой тени, кротких ручейков под деревьями и общения со спокойными и добрыми существами. Поэтому я вышел на солнцепек и под сухим и соленым восточным ветром двинулся через ослепительное сияние и чернильные тени по полям, которые оказались значительно шире, чем я ожидал, пока не добрался до рощи, а затем до запущенного парка, где и присел отдохнуть… Но я не получил желанного отдыха. Дерн был нечист из-за присутствия множества овец, и среди травы густо разросся весьма колючий чертополох, а через некоторое время я обнаружил обилие муравьев-жнецов, этих маленьких красных бестий, которые забираются на вас из меловой почвы и, впиваясь в кожу, вызывают невыносимый зуд. Я снова поднялся и пошел, понапрасну надеясь найти место, где я мог бы устроиться более удобно. Вокруг кружилось мно-

жество мух и оводов, намного больше, чем здесь, и в большем разнообразии. Они преследовали меня со все возрастающим рвением, окружив жужжащим облаком, и мне пришлось размахивать над головой тросточкой, чтобы отгонять их. Я был слишком измучен, чтобы идти обратно, но знал, что впереди, на расстоянии примерно мили, есть деревня, и надеялся найти там какой-нибудь транспорт…

С трудом продвигаясь в такой манере, я набрел сначала на одну, а затем на другую находку, и они настолько соответствовали моему настроению, что, казалось, были подброшены каким-то супостатом. Во-первых это был маленький крольчонок, с мою ладонь величиной, которого какая-то жестокая тварь вытащила из норки. Его затылок был раздроблен, окровавлен и зиял ранами, откуда к моему лицу, словно толпа свидетелей, поднялся рой мух. Когда я двинулся дальше, пытаясь отогнать от себя мысли об этом несчастном мертвом создании и озираясь по сторонам в надежде высмотреть что-нибудь более приятное, то заметил ряд маленьких коричневых предметов на кусте боярышника. Подойдя ближе, я понял, что это было около дюжины жертв сорокопута — жуки, птенцы-слетки, мышь и

тому подобное, насаженные на колючки. Все они застыли в болезненных судорожных позах, так, словно каждый из них перенес ужасные страдания, и своими последними жестами взывали ко мне, как бы умоляя рассудить их с Творцом… А чуть дальше на меня с боковой тропинки выскочил тощий злодейского вида кот, на запущенной черной шкуре которого виднелись проплешины; в зубах он что-то держал и выронил свою добычу при виде меня. Это оказалась какая-то птичка с хохолком, сильно покалеченная. Она кругами затрепыхалась на траве у моих ног, не в силах подняться. Охваченный приступом бессильной и бессмысленной ярости, я кинулся на кота, который остановился в нескольких ярдах и собирался подобрать свою жертву. Я с криком бросился преследовать его. Тут мне пришло в голову, что разумней было бы, вместо напрасной погони за гнусным котом, вернуться назад и положить конец страданиям птицы. Я не сразу нашел ее, чтобы прикончить, и лихорадочно возился в кустах, рыча и ругаясь. Когда я обнаружил ее, она попыталась бороться со мной своими слабыми окровавленными крыльями, и я почувствовал себя скорее не избавителем, а убийцей. Я ударил ее своей тростью, но она все еще билась, и я раз-

давил ее ногой. В муках отчаяния я бежал от ее останков, крича: «И этот явленный ад — творение Господа!»

— Ха! — воскликнул мистер Дэд.

— Вдруг мне показалось, что пелена спала с моих глаз и что я увидел мир без прикрас. Это было так, словно Вселенная отбросила маску, которую носила до сих пор, и показала свое лицо — и это оказалось лицо безграничного зла. Это было так, словно сила зла восседала где-то надо мной и наблюдала оттуда насмешливым взглядом. Весь остаток этого дня я не мог думать ни о чем другом, кроме беспомощных страданий живых существ. Меня пытали и все живое пытали вместе со мной. Мне не удалось найти деревню, которую я искал; я заблудился и чувствовал себя скверно; время от времени я останавливался на обочине, иногда опускался на колени или ложился, чтобы немного отдохнуть, дрожа или сгорая от все возраставшей лихорадки. Сюда я добрался уже затемно… Я, как вы знаете, был первым, кто нашел бедного Уильямсона, беспомощно лежавшего в луже кислоты, его кошмарная фигура и обгорелые тела двух мальчиков, погибших в школьном здании, — постоянно преследуют меня; но что больше всего поразило меня в тот день,

когда мир показал мне свои оскаленные зубы, — это отвратительность животного бытия. Я не знаю, почему это показалось наиболее прискорбным для меня и наиболее важным, но это было так. Однако человеческое страдание осложнено еще и моральными вопросами; человек может смотреть вперед и назад и находить отдаленные оправдания и твердую поддержку вне своего нынешнего опыта; но эти бедные птицы и звери, у них есть только их настоящие переживания и индивидуальные жизни, изолированные и запертые в себе. Как может существовать справедливость в системе, которая приносит им бедствия? Я думал то об одном создании, то о другом и не мог представить себе, что для них может существовать что-то, кроме случайной вспышки фальшивого и бесполезного удовлетворения между одним страданием и другим. И сегодня, джентльмены, когда я сижу здесь вместе с вами, тот же самый темный поток мыслей просачивается сквозь мое сознание. Я чувствую, что жизнь — это слабая и непоследовательная активность, возня посреди пыли времени и пространства, неспособная преодолеть даже свои внутренние разногласия, обреченная на фазы заблуждений, на иррациональные и незаслуженные наказания,

на напрасные жалобы и, наконец, на угасание. Есть ли хоть одно здоровое живое существо в мире? Я спрашиваю вас. Когда я блуждал в тот день, я разглядывал деревья так, как не смотрел на них никогда раньше. Среди них я не заметил ни одного, у которого не было бы сломанных или подгнивших ветвей или многочисленных обрубков утраченных сучьев, от которых гниение распространялось в сторону главного ствола; в каждой развилке виднелись темные пятна порчи, кора была неровная, скрученная, с наростами грибов, выдающих проникновение болезненного мицелия. Листья, испещренные бородавками и пятнами, изгрызаны и проедены мириадами врагов. Я заметил также, что дерн под моими ногами затоптан, опален и истерт; растянутые на увядающем осеннем подросте паутинные сети сотен пауков подстерегали разнообразных насекомых; живые изгороди являли собой замедленную схватку протискивающихся и удушающих друг друга растений, и каждое из них в отдельности было в той или иной степени искалеченным и зачахшим. Большинство этих растений были вооружены, как убийцы, огромными шипами или жалящими волосками, на многих созревали ядовитые ягоды. И в этом была реальность жизни

— не случайное состояние вещей, а демонстрация их всегдашнего порядка. Я был слеп, а теперь прозрел. Чем оказались эти рощи и заросли, тем же был и весь мир…

В книге, которую я случайно обнаружил в этих комнатах, я прочитал о джунглях Индии, представляющихся многим людям гигантским изобилием замечательной и роскошной растительности. Но большую часть года это — жаркое и колючее скопление коричневых, мертвых и рассыпающихся в прах останков. Только когда в облаках пара приходят ливни, буквально за мгновения возникает стремительное сплетение борющихся друг с другом побегов зелени, сталкивающихся, теснящихся, раздираемых и пожираемых множеством зверей и ужасающим разнообразием насекомых, которых жаркая влажность вызвала к жизни. Затем под сухим дыханием уничтожающего горячего ветра все это изобилие утрачивает свежесть и увядает, все плоды созревают и опадают, и джунгли снова впадают в гнетущую жару и печальное брожение. И на самом деле повсюду сезон роста представляет собой дикую схватку за существование, а остальная часть года — усложненное массовое убийство. Даже в нашем британском климате

неясно, как лето выдерживает щедрые обещания весны. В нашей весне, без сомнения, присутствует надежда — распускаются бутоны, гнездятся и поют птицы, заметна определенная чистота воздуха и явление первичных и относительно невинных вещей; но вскоре за этой свежестью следуют сельскохозяйственные вредители и паразиты, твари, эти фавориты разорения и боли, апатии и лихорадки, которые жалят и все портят…

Вы можете сказать, что я слишком подробно останавливаюсь на ущербной жизни растений, которые не чувствуют, насекомых и других мелких созданий, которые могут чувствовать совсем по-другому, чем мы; но в действительности их угнетенность и несовершенство составляют общую структуру жизни. Даже те, кто живут, живут лишь наполовину. Вы можете возразить, что по крайней мере некоторые, очень немногие животные вносят определенное удовольствие и достоинство в этот мир. Но посмотрите на жизнь травоядных; они все являются объектами охоты; страх — обычное состояние их сознания; даже огромный индийский буйвол обращается в бегство, поддавшись панике. Когда они не в апатии, то кажутся сердитыми, озлобленными на жизнь; их сезонные сексуальные вспышки очевидно

являются жестоким мучением для них, поводом для свирепого рева, взаимного преследования и отчаянных схваток. Такие животные, как носорог или буйвол, почти всегда находятся в ярости, они впадают в безумие без особой на то причины, так же, как и многие слоны, обнаруживая нечто вроде органической неприязни к другим живым существам…

Но если мы обратимся к крупным хищникам, которых можно считать хозяевами мира джунглей, то их судьба не покажется нам ни на йоту более счастливой. Тигр ведет жизнь, полную страха; обрывок грязной тряпки может заставить его свернуть с пути. Большую часть его бодрствования занимает голодное рыскание; когда ему удается убить, он алчно насыщается, он ест, пока не почувствует неудобство. После этого он залегает в тростнике или кустарнике, обозленный и не склонный сдвинуться с места. Охотникам приходится выгонять его оттуда, и он медлительно выходит, не желая умирать. Его когтистые лапы до странности чувствительны; всего несколько миль каменистой тропы заставляют их кровоточить, в них набиваются колючки. Его пасть настолько нечиста, что укус его может оказаться отравленным…

Весь тот день я боролся с убеждением, что наивысшее счастье в жизни любого животного в лучшем случае подобно мимолетной улыбке, мелькнувшей на мрачном и жестоком лице. Я попытался вспомнить каких-нибудь комичных и довольных с виду существ…

Но это только напомнило мне о недавнем ужасе.

Вы, наверное, видели рисунки и фотографии, изображающие пингвинов. Они, очевидно, произвели на вас определенное впечатление, которое я попытаюсь выразить. В их внешности есть какая-то забавная и веселая тяжеловесность, олдерменское довольство. Но у меня теперь одна только мысль о пингвине вызывает картину страдания. Я расскажу вам почему… Один из бывших учеников зашел ко мне примерно год назад, возвратившись из южной полярной экспедиции; он рассказал мне правду об этих птицах. Их жизнь, как сказал он — он говорил конкретно о королевских пингвинах, — превращена в мучение чрезмерно развитым инстинктом продолжения рода, инстинктом, разделяемым обоими полами и являющимся необходимым условием выживания на густонаселенных птичьих базарах этого замороженного континента.

Этот инстинкт делает их жизнь сплошной мукой. Много яиц разбиваются по самым разным причинам, исключительно высока и смертность среди птенцов; они проваливаются в трещины, замерзают насмерть и тому подобное, три четверти ежегодного выводка погибает, и, если бы не этот исключительный инстинкт, вид полностью бы вымер. Поэтому каждая из птиц охвачена беспокойством и стремлением высидеть и защитить птенца. Но одна пара производит не более одного яйца в год; яйца разбиваются, скатываются в воду, их всегда не хватает, и каждый пингвин, обладающий яйцом, вынужден его ревностно охранять, а каждый, у кого яйца нет, старается украсть или захватить его. Некоторые в расстройстве начинают высиживать обкатанные камни или куски льда, а счастливые обладатели яиц целыми днями сидят, не покидая гнезда, вопреки терзающему их мучительному антарктическому голоду. Покинуть гнездо хоть на минуту — значит, ввести в искушение грабителя, а силу эмоций, возникающих при этом, демонстрирует тот факт, что они вступают в смертельную схватку над похищенным яйцом. Вы понимаете, что эти с виду комичные птицы на самом деле несчастные существа с затемненным сознанием,

вечно озабоченные и напрягающиеся до предела своих сил. Вот какова их повседневная жизнь…

Но королевские пингвины уже близки к концу своей истории. Позвольте рассказать вам, как эта история заканчивается. Позвольте рассказать, что происходит сейчас в мирных южнополярных морях. Моего бывшего ученика очень расстроил расширяющийся там хищнический промысел… Если его не остановить, то все эти птичьи базары будут уничтожены. Птиц убивают ради их жира. Промысловые команды высаживаются и бьют их прямо на гнездах, с которых эти бедные глупые существа отказываются двинуться. Мертвых и оглушенных, живых и мертвых вместе, их волокут прочь и швыряют в железные клетки, чтобы выварить из них жир. Из убитых и изуродованных живых… Каждая птица приносит на фартинг прибыли, но это окупает подобное истребление, и поэтому все происходит именно так. Вы понимаете, что люди, проводящие такие операции, имеют солидное коммерческое образование. Они считают, что если Бог дает нам силу, то он имеет в виду, что мы ею воспользуемся, и поэтому все, что выгодно, то справедливо.

— Ну, право, — запротестовал мистер Дэд, — право же!

Мистер Фар также, казалось, хотел высказаться. Он прокашлялся, его руки беспокойно задвигались на краю стола, лицо его загорелось.

— Сэр Элифаз… — сказал он.

— Позвольте мне закончить, — сказал мистер Хас. — Я напомнил вам наиболее упрямые факты, важные в подобном споре. А подумали ли вы о значении таких существ, как энтозои, а также о громадном множестве видов специализированных паразитов, само существование которых является жестокостью? Есть тысячи видов и подвидов насекомых, ракообразных, паукообразных, червей и низших беспозвоночных, которые самым замысловатым путем приспособились жить за счет живых и страдающих тканей их собратьев и не могут уже существовать по-другому? Вы когда-нибудь задумывались, что это означает? Если Провидение создало эти ужасы, то сколько благожелательности было в этом Провидении? Я не стану огорчать вас подробным описанием жизненного цикла этих существ. Вы должны знать о многих из них. Я не буду останавливаться, к примеру, на тех осах, которые откладывают свои яйца в живые тела жертв, которых их личинки загрызают насмерть медленно, день за днем, по мере своего развития, и не стану обсуждать бес-

смысленный рост клеток, избравших в качестве почвы мое тело… И ни одну из тысяч инфекционных лихорадок, которые обрушиваются на нас — без причины, без всякой справедливости…

Из всех живых существ человек менее всего подвержен нападениям внутренних паразитов. За короткий отрезок нескольких сотен тысячелетий он настолько изменил свою пищу, жилье, осанку и весь образ жизни, что сравнительно немногие их виды, я бы сказал, тридцать или сорок, не более, оказались способны последовать за этими переменами и приспособиться к нему в новых условиях; но все-таки и человек вынужден принимать этих ужасных гостей. Каждый раз, когда вы пьете из открытого водоема неподалеку от овечьего пастбища, вы можете проглотить личинку печеночной трематоды, которая превратит вашу печень в обиталище зловредных тварей, пока они не проедят ее насквозь и через кровоточащие раны не попадут в полость вашего тела и не уничтожат вас. В Европе такая судьба редко постигает человека, но в Китае есть большие районы, где трематоды очень распространены и губят жизни тысяч людей… Но трематода только один из примеров мастерства Творца. Немытый листок латука может способ-

ствовать внедрению одноклеточного паразита в ваш мозг и свержению с трона царствующего в нем рассудка; угощение плохо приготовленной свининой способно передать вам от свиньи ползучую смертную пытку трихиноза… Однако все человеческие страдания от этих причин — ничто по сравнению с муками животных. Их мучения носят завершенный и окончательный характер. Преподаватель биологии рассказал мне, что ему редко приходилось разделать треску или налима без того чтобы не обнаружить клубки различного вида червей или других бледных жильцов. Он собрал целую коллекцию, где в шеренгах пробирок хранятся паразиты, которых он находил в телах кроликов.

Но я не стану вас больше раздражать…

Так создан ли этот мир для счастья чувствующих существ?

Я спрашиваю вас, как возможно, чтобы человек не возмутился перед лицом таких фактов?

Как может он верить Творцу, который задумал, разработал и завершил всех этих паразитов в их бесконечном множестве и разнообразии? Ведь эти существа не созданы неожиданно или по особому рассуждению; они возникли ужасным и чудесным образом в процессе эволюции, так же

медленно и неуклонно, как и мы сами. Как же человек может поверить, что Творец обращается с ним справедливо? Почему он должен закрывать глаза на очевидные вещи? Я не знаю — является этот заселенный мир творением существа, вдохновленного злонамеренностью, изначально отвратительной, мелочной и гнусной, или же он демонстрирует беспечность его автора, безразличие и пренебрежение к справедливости…

Голос мистера Хаса постепенно затих.

10

Мистер Фар уже некоторое время проявлял признаки нетерпения. Пауза дала ему наконец возможность высказаться. Он заговорил, старательно удерживаясь от многословия:

— Сэр Элифаз, мистер Дэд, по поводу того, что было допущено в отношении меня, я предпочел вовсе не высказываться в этой дискуссии. Но по некоторым вопросам невозможно хранить молчание. Мистер Хас сказал несколько ужасных вещей, которые наверняка не должны быть произнесены в Уолдингстентоне… Подумайте только, какое воздействие имело бы такое обучение на юных и восприимчивых мальчиков! Представьте себе, что это прозвучит со школьной кафедры! Я всегда осторожно отношусь ко всяким спорам, и я до поры не вмешивался в ваш спор с мистером Хасом, но считаю, что это множество злых слов, все эти придирки к Божьему миру заслуживают ответа. Совершенно необходимо ответить на них твердо и прямо. Таков наш долг перед Богом, создавшим нас такими, какие мы есть… Мистер Хас, в вашем теперешнем болезненном состоянии вы, кажется, не способны осознать всю

чудовищность самомнения, с которым вы уничижаете Божьи чудеса. Но в действительности вы всегда страдали такой несостоятельностью. Это не ново. Разве я не мучился от вашей высокомерной самоуверенности двенадцать долгих лет? Ваша правота и сегодня, как всегда, единственно права, ваша доктрина единственно чиста. Если бы Бог смог заговорить и отверз бы свои уста против ваших! Как этот голос потряс бы вас и все вокруг! Как бы вы увяли среди своих богохульств! Простите меня, джентльмены, если я слишком резок, — сказал мистер Фар, облизывая свои пересохшие губы, но мистер Дэд кивнул, выразив горячее одобрение.

Воодушевленный этим, мистер Фар продолжал:

— Войдя в эту комнату, мистер Хас, я был полон сочувствия к вашему несчастью — я думаю, все мы испытывали сострадание, — но теперь мне ясно, что Бог взыскал с вас меньше, чем полагалось за ваше прегрешение. Определенно, высшим из грехов является гордыня. Вы критикуете и принижаете Божий мир, но какой мир дали бы нам вы, если бы были Творцом? Простите, джентльмены, если я заставил вас вздрогнуть, но мы вправе задать этот вопрос. Поскольку для меня теперь

ясно, мистер Хас, что меньшая роль вас не удовлетворит. Уолдингстентон — слишком узкое поле деятельности для вас, несмотря на все чудеса, которых вы добились там, несмотря на тот факт, что никогда раньше и никогда потом там не было и не будет такого директора, и несмотря на то, что вы зажгли там свечу, от которой однажды запылает весь мир. Директор Вселенной — вот должность, которую вам хотелось бы занять. Тогда, и только тогда, смогли бы вы полностью раскрыть свои дарования. Тогда кошки перестали бы есть птиц, а деревья росли бы в полной симметрии, пока не затмили бы небо. Я смутно представляю себе, каким будет этот мир; каждая блоха, преобразованная и воспитанная под вашим руководством, будет способствовать всеобщему здоровью и счастью и вести себя как бойскаут. Каждый листок травы вырастет по крайней мере до шести футов в длину. Но что касается печеночной трематоды — я никак не могу решить проблему печеночной трематоды. Полагаю, что вы предусмотрите эйтаназию для всех этих паразитов…

Внезапно мистер Фар от этой манеры черного юмора перешел к серьезному, даже умоляющему тону:

— Мистер Хас, перед лицом смертельной

опасности, которая так близка, я прошу вас пересмотреть все ваши дикие и злобные речи. Вы взяли поверхностные аспекты этого мира и построили на них свои суждения; вы скудной меркой своего рассудка пытаетесь мерить планы Господа, планы, которые пространней суши, шире океана. Я спрашиваю вас — чем это способно помочь вам в вашей чрезвычайной ситуации? Осталось, возможно, совсем мало времени…

Провидение демонстративно решило предоставить мистеру Фару возможность произвести максимальный драматический эффект.

— Но что это? — произнес мистер Фар.

Он встал и выглянул в окно.

Кто-то позвонил в колокольчик, а теперь с явным нетерпением стучал у входа в «Морской вид» дверным молотком.

Глава 4
УМРЕМ ЛИ МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?

1

В коридоре раздались шаги миссис Крумм, и кого-то впустили в дом; послышались голоса, и ручка двери гостиной повернулась.

— А он что же, не приехал? — услышали они через щель слова миссис Крумм, и тут же в дверях появился доктор Илайхью Баррак. Это был круглоголовый молодой человек с чисто выбритыми щеками и со слегка скошенным твердо очерченным ртом. В сочетании с коротким носом все это создавало общее выражение решительности; а то, что одну ногу ему заменял протез, вообще не бросалось в глаза. Он окинул взглядом оказавшихся перед ним четверых людей и тут же обратился к мистеру Хасу резким и властным тоном.

— Вы должны быть в постели, — заметил он.

— Тут у нас шла довольно важная дискуссия, — сказал мистер Хас с жестом, предваряющим представление гостей.

— Но так долго сидеть для вас утомительно, — не уступал доктор, укоряя своего пациента.

— Но это меньше давит на меня, чем невысказанные мысли.

— Мнения по этим вопросам могут сильно рас-

ходиться, — мрачно проворчал мистер Фар.

— Мы все еще далеко не уладили наших разногласий, — глядя в пространство, добавил сэр Элифаз.

— Я, во всяком случае, обозначил свою точку зрения, — сказал мистер Хас. — Полагаю, сэр Алфеус уже здесь…

— Его здесь нет, — скромно сказал доктор Барак, — он телеграфировал, что задерживается и прибудет следующим поездом. Так что вы получаете отсрочку, мистер Хас.

— В таком случае я хотел бы продолжить разговор.

— Вам лучше было бы лечь в постель.

— Нет, я не смогу спокойно лежать.

И мистер Хас принялся представлять своих гостей доктору Барраку, который кивнул им всем по очереди, добавив:

— Рад познакомиться.

Взгляд его оставался суровым. Он не стал садиться, словно ожидая, что каждый из них изложит ему свои симптомы.

— Наша дискуссия зашла довольно далеко, — разъяснил сэр Элифаз, — исходным предметом нашего разговора было определение будущего развития Уолдингстентонской школы, которая,

как мы полагаем, должна сделаться более практической и технической, чем прежде, и меньше уделять внимания истории и философии, чем это было при мистере Хасе… Не хотели бы вы сесть, доктор?

Доктор сел, продолжая смотреть на сэра Элифаза строгим умным взглядом.

— Ну, и мы уклонились от этой темы, — продолжал сэр Элифаз.

— Не так далеко, как вы могли бы себе вообразить, — сказал мистер Хас.

— Во всяком случае, мистер Хас развлекал нас речами о невзгодах жизни, о том, как нас всех пожирают паразиты и что этим мерзким проклятым миром правит Бог, либо жестокий, либо такой безразличный, что, по сути, не является Богом вовсе.

— Неплохое высказывание для тысяча девятьсот восемнадцатого года от Рождества Христова, — произнес мистер Дэд, сделав упор на словах «Рождества Христова».

— С тех пор как я покинул Уолдингстентон и переехал сюда, — сказал мистер Хас, — я почти ничего не делал, а только думал. Я не спал ночами, а днем мне нечем было заняться, и я размышлял над фундаментальными вопросами.

Я был вынужден пересмотреть свою веру и более пристально, чем прежде, присмотреться к значению догматов, которых я придерживался, и к моментам, побуждавшим меня к действиям. Я был оторван от привычной веры в порядок вещей, который прежде казался разуму наиболее естественным. Но это всего лишь расширило брешь, уже давно существовавшую между мною и этими тремя джентльменами и очень ясно проявившуюся еще в те дни, когда успех оправдывал твердость моей руки, которой я управлял Уолдингстентоном. Но неожиданно и очень быстро на меня обрушились беды — одна за другой, без всякой причины и подготовки. Теперь я брошен во мрак сомнений и растерянности; мир кажется мне темным и жестоким, хотя раньше я верил, что в сердцевине его находится и пропитывает его Воля Бога Света. Я всегда, даже когда мою судьбу ничто не омрачало, отрицал, что Бог Справедливости управляет этим миром в общем и в частностях, раздавая нам день за днем награды и наказания. Эти джентльмены, наоборот, твердо в этом уверены. Они утверждают, что Бог правит миром непосредственно и явно и что успех — это мера его одобрения, а боль и страдания — кара за нечестивость. Как это все относится к образова-

нию? Да полностью и относится. Вы не сможете решить ни одного практического вопроса, пока не разрешите спор, подобный этому. Прежде чем вы сможете подготовить учеников к предназначенной им роли в этом мире, вы должны задаться вопросом, каков этот мир, для которого вы готовите их. Трагедия это или комедия? В чем состоит природа драмы, в которой им придется играть?

Доктор Баррак подал знак, что эта фраза им отмечена и одобрена.

— Ясности ради, замечу, — продолжал мистер Хас, — что, если успех является оправданием жизни, значит, вы должны готовить их к успеху. И если они будут делать свою работу ради этого, то у них не возникнет потребность в понимании жизни. Таково мнение работающих у меня воспитателей. Таким было мнение большинства людей в мире — всегда. Повинуйтесь порядку вещей, каков он есть! Такой урок они хотели бы дать моим мальчикам. Молча соглашайтесь. Жизнь для них не приключение, не борьба, а простое послушание и получение удовольствия от наград… Вот, доктор Баррак, что в реальности означает техническое обучение, которое они хотят ввести в Уолдингстентоне… Но я всегда верил сам и всегда учил детей, что если Бог че-

го и требует от человека, так это высочайшего стремления к сотрудничеству и пониманию. Я учил их воображению — главным и первейшим образом; я творил знание, знание того, что есть человек, и что такое мир человека, и чем человек может стать, в чем состоит приключение всего человечества, — вот сущность моего обучения в целом. В Уолдингстентоне я учил философии; я учил всеобщей истории человечества. И если бы моей программе мешало обучение химии и физики, математики и языков, я бы выкинул их. И вы понимаете почему, доктор Баррак.

— Я четко понимаю вашу позицию, — откликнулся доктор Баррак.

— А теперь, когда мои небеса потемнели, когда глаза мои открылись на мерзость, бессмысленность и ужас в устройстве жизни, я все еще цепляюсь, цепляюсь еще сильнее, чем прежде, за дух справедливости внутри меня. И если нет ни Бога, ни милосердия, ни человеческой доброты в огромной структуре пространства и времени, если жизнь — это судорожная мука, чесотка на поверхности маленькой планеты, а звезды там, далеко в пустоте, не более чем пустые светящиеся сосуды, не значащие вовсе ничего, то тем ярче воссияет пламя Господа в моем сердце. И хотя Бог

в моем сердце вовсе не сын никакого небесного отца, а мятежный Прометей, это не колеблет мою веру в то, что он — тот Властелин, ради которого я живу и умру. И я еще больше цепляюсь за тот огонь человеческой традиции, который мы зажгли над этой маленькой планетой, даже если он всего лишь проблеск духа в бессмысленности пустынной и мертвой Вселенной.

Доктор Баррак, казалось, собрался прервать его каким-то замечанием, но затем демонстративно отказался от вмешательства.

— Одиночество, ничтожество и жестокость, — продолжал мистер Хас, — на Небесах и в ткани всех вещей. Если суть дела такова, то мы должны это видеть. Любое дитя чувствует себя в безопасности на руках своей матери. Каждый ребенок чувствует себя так же в своем доме. Многие мужчины и женщины проживают счастливую жизнь и умирают с этой иллюзией безопасности. Но войны срывают покрывало иллюзий с глаз миллионов людей… Человечество взрослеет. Наконец мы можем понять, чем является жизнь и чем она не является. И вот так мы крутимся на поверхности шара из камня и никелевой стали, поверх которого растеклась пленка воды и имеется слой воздуха толщиной в несколько миль, словно

налет на сливе. А вокруг этого шара простирается неизмеримая глубина пространства; все солнца, планеты и звезды — это всего лишь зернышки материи, разбросанные в пространстве, которое в остальном представляет собой абсолютную пустоту. Мы же являемся пленниками тонкого налета на одной из таких частиц; если мы станем пробивать тоннель в глубь земли, то вскоре нам станет слишком жарко, чтобы жить; если мы поднимемся в воздух на высоту пяти миль, мы замерзнем, кровь по сосудам кинется в наши легкие, и мы умрем от удушья, захлебнувшись собственной кровью…

Из слоев ила и гравия, которые составляют почву нашего мира, мы извлекли некоторые следы прошлого нашего народа и прошлой жизни на Земле. В наших обсерваториях и лабораториях мы собираем немногочисленные намеки на ее будущее. У нас есть какое-то представление о начале рассказа, но первые страницы мы не в силах прочесть. Мы установили, что жизнь зародилась как простое движение среди ила, ползанье по отмелям теплых и мелких морей в короткие дни и ночи быстро вращавшейся Земли. Далее мы следуем сквозь обширные эпохи распространения жизни в воде, а затем вторжения ее на сушу

и в воздух. Растения тоже выползают на сушу и, поднимаясь стеблями вверх, тянутся к солнцу; немногие черви и ракообразные следуют за ними, появляются насекомые; и наконец приходят наши земноводные предки, дышащие при помощи плавников, используемых в качестве легких. С самого начала наземные животные были скроены на скорую руку. Наряду с рыбьим ухом они унаследовали и барабанную перепонку, развившуюся из жаберной щели. Следы чешуи и плавников можно проследить на костях и конечностях. В конце концов зеленая пена растительности вместе с путающимися в ее сети животными, превратившись в леса, окружает подножия холмов; трава распространяется по равнинам, и крупные звери вслед за ней выбираются на открытое место. Что это такое? Да не более чем зеленый мох, появившийся на старой черепице. Земля постепенно охлаждается и замедляет вращение; день удлиняется. За долгие века тепла и влажности бесполезное разнообразие жизни возрастает, а затем наступает пора охлаждения и отступления, пора ледниковых периодов, когда целые семейства и виды вымирают. Наконец приходит человек, истребитель, воин, принесший в мир огонь, сжигающий кре-

пости, истощающий землю. На что он надеется в конечном счете? Дни растягиваются все длиннее и длиннее, а солнце растрачивает свою энергию. Наступит время, когда оно будет постоянно светиться на небе мрачным красным шаром, растеряв свои лучи, не поднимаясь и не заходя больше. И наконец придет день, когда Земля станет такой же мертвой и замерзшей, как Луна… Но дух в наших сердцах восклицает «Нет!», и есть ли вне нас, во всей этой холодной и пустой Вселенной, еще какой-нибудь голос, способный присоединиться к этому крику: «Нет!»?

2

— Ах, мистер Хас, мистер Хас, — промолвил сэр Элифаз.

Его взгляд блуждал по стенам, ища, на чем бы остановиться, и наконец задержался на украшавшей маленькую гостиную гравюре по стали, на которой была изображена королева Виктория, передающая. Библию опечаленному нынешнему монарху.

— Ваша болезнь накладывает отпечаток на ваши взгляды, — продолжил сэр Элифаз. — То, что вы говорите, столь же глубоко правильно, сколь и совершенно ошибочно. Таинственно развившись и живя, по вашему замечанию, в тонкой пленке воздуха и влаги на этой маленькой планете, как бы мы смогли существовать, как смогли бы продолжать свою жизнь, если бы не ежеминутная поддержка со стороны милосердия и мудрости Господней? Наша хрупкая жизнь — одно из величайших чудес Провидения. Ни воробей, — сказал сэр Элифаз и тут же расширил метафору, добавив громко и отчетливо: — И ни единый волос с моей головы не может упасть на землю без его ведома и согласия… Я очень занятой человек. И я не могу

прочесть все, что мне следовало бы. Но когда вы поносили творения Божьи, я вспоминал о некоторых из Его чудес…

Сэр Элифаз поднял большой и указательный пальцы, расставленные таким образом, будто он держал в них какой-то изящный предмет.

— Например, человеческий глаз… — сказал он с чувством, от которого у него навернулись слезы. — Перекрестное опыление растений… Чудесные превращения высших насекомых… В высшей степени совершенные несущие крылья чешуйчатокрылых… Простое милосердие, которое умеряет холодный ветер для остриженного ягненка… Тайны теплой темноты эмбриологии… Порядок, ритм и послушание, с которыми оплодотворенные клетки яйца делятся, чтобы образовать совершенное тело живого существа — о, да, и человеческое тело тоже! — по Божьему подобию. Сначала одна клетка, потом две — процесс деления исключительно красив и называется, как я помню, кариокинезом; затем вместо двух появляются четыре, и каждая знает свое место, и каждая делится чудесным и определенным образом — восемь, шестнадцать, тридцать два… И каждая из этих тридцати двух клеток являет собой в точности тридцать вторую

часть человеческого организма. Эти клетки как бы говорят: «Я сделаюсь волосами, я кровяными тельцами, а я клетками мозга — зеркалом Вселенной». И каждая направляется в назначенное для нее место… Можем ли мы создать что-либо подобное?! — воскликнул сэр Элифаз. — А возьмем, к примеру, воду, — продолжал он. — Я не очень сведущ в физической науке, но есть у воды определенные особенности, наполняющие меня изумлением и восторгом. Все другие жидкости сжимаются при затвердевании. С одним или двумя исключениями — полезными в искусстве. Вода же расширяется. Вода не является проводником тепла, а если бы она сжималась и делалась тяжелее, становясь льдом, она бы опускалась на дно полярных морей и оставалась бы там в замерзшем виде. Все больше ее тонуло бы, пока океан целиком не превратился бы в лед и жизнь не погибла бы. Но нет!.. А вспомним водяные пары, которые отклоняют и задерживают солнечную жару, сжигающую мир днем и сменяющуюся морозом по ночам. Милосердие следует за милосердием. И сам я, — произнес сэр Элифаз тоном глубокого удовлетворения, — на девяносто процентов состою из воды… И все мы тоже… А подумайте, насколько милостивым и

смягченным характером обладает снег в зимнее время! Когда вода замерзает в воздухе, она не падает вниз кусками льда. Наверное, так могло бы произойти, и куда бы мы тогда делись? Но вода принадлежит к гексагональной системе, структуре благодатной. Снежинки кристаллизуются в наиболее деликатное и красивое кружево — замечательно выглядящее под микроскопом. Они нежно падают одна на другую. И так изо льда свивается теплая одежда наподобие шерсти, белой шерсти, потому что эта шерсть заполнена воздухом, — та теплая одежда, которая согревает и хранит побеги растений… Вы осуждаете Бога за то, что он насылает паразитов. Но разве они не насылаются для того, чтобы преподать нам глубокий моральный урок? Не ради паразитов, а для каждого из нас дает Бог этот урок. Они живут в полной зависимости, а с нею вместе быстро и наверняка приходит дегенерация. Это — социалисты природы. Они теряют свои конечности. Они теряют окраску, становятся бледными, несимпатичными, гнусными, ленивыми существами, порой даже микроскопическими. Не вынуждают ли они нас заниматься самопомощью и изгнанием их? Хотя даже и в паразитах есть своя польза! Я уже говорил, что, если не хватает паразитиче-

ских бактерий, человек не может переваривать пищу. А лишайник представляет собой сожительство мха и водоросли — взаимных паразитов. Это явление называется симбиозом — жизнь вместе со взаимной выгодой. Может быть, каждый из тысяч этих Паразитов, которых вы считаете такими зловредными, живет по взаимному согласию с хозяином, — сэр Элифаз взвесил свои слова, — по взаимному соглашению со своим хозяином, который им еще и платит. И наконец, — с отдаленным громовым раскатом в голосе промолвил сэр Элифаз, — подумайте о постоянном прогрессе жизни на Земле, идущей через мириады форм к славному крещендо эволюции, вверх по ее лестнице, к человеку. Что за создание — человек! Образец творения, средоточие Вселенной, высшее порождение времени… И вы еще хотите, чтобы мы усомнились в руководящей руке!

Он замолк со значительным жестом.

Мистер Дэд издал звук, подобный отзвуку хора в церкви.

3

— Красота в мире — это не марка Божьей благосклонности, — возразил мистер Хас. — Не существует красоты, которая не была бы сбалансирована равным ей безобразием. Бородавочник и гиена, ленточный червь и фаллический стебель веселки — все это в равной степени Божьи творения. Из ваших слов не вытекает ничего, кроме холодного безразличия к нам со стороны системы, в которой мы живем. Прекрасное попадается нам, но не даруется. Боль, страдание, счастье — какая разница? И только в человеческом сердце пылает огонь справедливости.

Мистер Хас еще немного помолчал. Затем он начал говорить, обращаясь к сэру Элифазу:

— Вы говорили о чуде перекрестного опыления растений. Но знаете ли вы, что половина забавных и ухищренных приспособлений, свойственных растениям, уже не работает? Едва эти эволюционные изменения были закончены, особая нужда, вызвавшая их к жизни, исчезла. И половина этих замысловатых цветов так же бесплодны сейчас, как руины Пальмиры. Они стали самоопыляться или опыляться ветром. А

трансформация высших насекомых, напоминающая нам об осах и оводах, о малярии и яблочных червях в надлежащий сезон, способна привести человека в изумление, но никак не вызвать у него приступ благодарности. И если уж есть план в этом странном и запутанном действе, то наверняка это план неуместного и негуманного дарования. Крылья чешуйчатокрылых также растратили свои блестящие сокровища за миллионы лет. Если они предназначались для людей, то почему красивейшие виды их летают по ночам в тропических лесах?.. А ваш гимн по поводу странных свойств воды, которые делают жизнь возможной? Да, они делают ее возможной. Но разве заставишь воду делать что-нибудь другое?

Вы говорили о чудесах эмбрионального роста в яйце. Должен признаться, в этом процессе есть удивительная точность; но какое отношение это имеет к моим сомнениям? Они могут разве что направиться в другое русло — будто Бог правит миром, руководствуясь не столько любовью, сколько иронией. Эти клетки действительно чудесно делятся, и хромоплазма соскальзывает по их веретенообразным формам. Но они делятся так, как будто ими руководит не Божественная рука, а неумолимая логика, безжалостная по-

следовательность математического процесса. Они делятся, располагаются и поворачиваются относительно друг друга тем или другим образом, чтобы создать идиота, сформировать калеку от рождения. Так нагромождаются миллионы «чудес» — и шатающийся пьяница появляется на пороге пивной.

Вы говорите о крещендо эволюции, о первых зачатках жизни, о том, как эта схема разворачивается, пока не достигает кульминации в нас — *в нас*, здесь, при этих обстоятельствах: в вас, в мистере Дэде, в мистере Фаре и во мне, ожидающем ножа хирурга… Смогу ли я усмотреть здесь подобное крещендо? На самом деле я вижу перемены, и перемены без всякого плана и без всякой сути. Возьмем, к примеру, миграции птиц через Средиземное море и трагическую абсурдность того, что с ними случается. Долгие века назад здесь тянулись непрерывные языки суши, соединявшие Африку с Европой. Тогда сформировался инстинкт; птицы летали вдоль этих земель с жаркого юга в северное лето вить гнезда и выводить птенцов. Медленно, век за веком, моря переползали через эти перешейки. Теперь соединительные тракты прерваны, но все тот же слепой и безжалостный инстинкт продолжает

гнать птиц над непрерывно расширяющимся морем, в котором уже погибли мириады их собратьев. А теперь подумайте о напрасном стремлении к каким-то давно уже забытым целям, которое ведет леммингов к назначенной им судьбе. И посмотрите на человека, ваш венец эволюции; учтите его стремление к равновесию, индивидуализм его женщины, экстравагантную диспропорцию его желаний. Честно и откровенно прочтите Каменную летопись — и где в ней вы обнаружите ваше крещендо? Были великие века чудесных древовидных папоротников и замечательных лесных болот, но все эти славные растения погибли. Они не продолжились; они достигли расцвета и вымерли; другие виды растений заменили их. А теперь подумайте о чудесной фауне мезозойских времен, о веке Левиафана; териодонты, звероящеры, прыгающие динозавры, мозазавры и подобные им чудовища глубин, птеродактили с перепончатыми крыльями, плезиозавры и ихтиозавры. Подумайте о чудесах мезозойских морей; тысячи различных аммонитов, богатство рыбной жизни. Через весь этот мир жизни пронеслась смерть, словно влажные пальцы ребенка стерли рисунок с грифельной доски. После них не осталось наследников; они

сползались в огромном разнообразии и запутанности и погибали. Рассвет эоцена был унылым рассветом над голой планетой. Крещендо, если вам так угодно, имело место, но после него было диминуэндо, а затем пьяниссимо. А после снова из укромных точек начинал бить, постепенно иссякая, источник жизни. Мир, в котором мы живем сейчас, — бедный спектакль по сравнению с обилием и великолепием раннего третичного периода, когда бегемот имел тысячу форм, динотерий, титанотерий, хелладотерий, саблезубый тигр, сотни видов слонов и подобных им существ продирались сквозь джунгли, которые стали теперь нашим нынешним снисходительным миром. Так где *это* крещендо теперь? Крещендо! Долгие века наши предки прятались под листьями и карабкались на деревья, чтобы не оказаться на пути этого крещендо. В качестве мотива для крещендо их песни не слишком годились. А сейчас этот мир на короткий момент оказался нашим, и мы развиваемся в своем направлении. К какому добру? К какому концу? Скажите мне, вы, считающий, что мир хорош, скажите мне, каков его конец? Как сможем мы избежать, по крайней мере, общей судьбы под темнеющим небом замерзающего мира?

Он помолчал несколько секунд, утомленный долгой речью.

— Нет успокоения, — сказал он, — в цветах или звездах, нет поддержки в прошлом и нет уверенной надежды в будущем. И нет ничего, кроме Бога веры и храбрости в сердцах людей… А Он не дает знака силы, не дает залога победы… Он не дает знака…

И тут сэр Элифаз выдохнул слово:

— *Бессмертие!*

— Позвольте мне сказать несколько слов о бессмертии, — продолжил сэр Элифаз с нетерпением, — поскольку, как я полагаю, мы совсем забыли о нем. Существует разница между нами и вами, мистер Хас; мы можем сидеть здесь, удовлетворенные своими частными ролями, уверенно зная, что когда-нибудь все оборванные связи и несуразицы, которые запутывают нас в этой жизни, будут раскрыты и распределены по своим совершенным кругам, в то время как вы, для которого земная жизнь есть нечто полное и окончательное, и должны были оказаться возмутителем спокойствия, ваша роль — проповедовать доктрину, лежащую между вызовом и отчаяньем… Если бы смертью на самом деле оканчивалось все! *Ах!* Тогда бы вы на самом деле

могли предъявить этот аргумент. Несчастий человеческих так много. Зачем бы я стал отрицать их?

Патентовладелец и главный хозяин Теманитовых Блоков сделал паузу.

— Да, — произнес он, нахмурившись. — В этом-то состоит реальный вопрос. Будучи слепым к этому, вы слепы ко всему вообще.

— Я не знаю, с вами ли я в вопросе о бессмертии, сэр Элифаз, — предупредил доктор Баррак, коротко кашлянув.

— С моей стороны я всецело вместе с вами, — сказал мистер Дэд. — Если не существует вечной жизни — ну что толку быть умеренным, скромным и осторожным в пятьдесят пять лет?

Сэр Элифаз решил теперь оставить всю апологетику по отношению к устройству природы.

— Наш мир — место испытаний, место стимулов и укрепления сил, — сказал он. — Respice finem. За этим кроются все ключи к разгадке.

— Но если вы действительно считаете этот мир местом формирования души, — ответил мистер Хас, — что вы делаете, предлагая передать Уолдингстентон в руки Фара?

— Во всяком случае, — едко произнес Фар, — мы не хотим советов, даваемых от отчаяния, и

почернения юных душ в Уолдингстентоне. Нам нужно, чтобы мальчики учились и действовали предприимчиво в первую очередь в скромной экономической сфере, а уж только потом в высших областях.

— Если со смертью оканчивается все, то зачем пытаться, — сказал мистер Дэд, все еще не оставляя этого вопроса. — Если бы я думал так!.. Мне следовало бы уйти… — добавил он с убеждением. — И всем остальным тоже.

Он тяжко вздохнул, засунул руки в карманы и глубже уселся в своем кресле — возмущенный деловой человек, которого пригласили ради разговора о пустяках.

На момент над маленьким обществом нависла напряженная тишина. Все явственно представили себе демонстративный спектакль, который готов был дать мистер Дэд в окружении вина, женщин, фрачных костюмов, — не сдерживаясь, отпустив все тормоза в еде, питье, веселье, пуститься в разгул, потому что завтра он должен умереть…

— Бессмертный… — пробормотал мистер Хас. — Я не ожидал, что бессмертие станет предметом нашей дискуссии. А вы бессмертны, Фар? — вдруг спросил он.

— Надеюсь, что так, — сказал мистер Фар. — Хотя я этого и недостоин.

— Совершенно верно, — согласился мистер Хас, — и таков выход для нас с вами. Вы и я, мистер Дэд на своем заводе и сэр Элифаз в своей строительной конторе высоко летаем. Все это устроено для нас… Но почему трагическое величие жизни должно быть скрыто от моих мальчиков? Я не понимаю, — продолжил мистер Хас, — почему вы так заботливы к техническим наукам и так враждебны к преподаванию истории человечества?

— Потому что это не настоящая история, — сказал сэр Элифаз, у которого волосы взвились, как у человека, наэлектризованного новыми идеями. — Потому что это пучок распущенных концов, которые на самом деле никуда не ведут. Это просто начала, уходящие в невидимое. Я признаю, что в этом мире ничто не рационализировано, ничего толком не выяснено. Я признаю все, что вы говорите. Но причина? Причина?! Все дело в том, что эта жизнь — всего лишь первая страница великой книги, которую мы должны прочесть. Мы сидим здесь, мистер Хас, словно люда в зале ожидания… Вся эта жизнь как ожидание у порога, в каком-то захламленном месте, перед тем как тебя допустят в более широкую

реальность, новую сферу, где все эти жестокости, вся эта путаница, вообще все будет объяснено, оправдано и расставлено по местам.

Он сделал паузу и, заметив, что мистер Хас собирается говорить, произнес несколько громче:

— Но я не могу говорить об этом, не ссылаясь на одну книгу, — признал он. — На меня она произвела глубокое впечатление, и более того, леди Берроуз также испытала огромное воздействие этого творения двух исключительно ученых людей, доктора Конана Дойла и сэра Оливера Лоджа. Потеряв в начале жизни свою младшую сестру Раймонду, леди Берроуз следует за возникшим у нее в то время интересом к проблемам бессмертия. Для нее эта книга явилась огромной поддержкой. Суть дела заключается в том, на чем настаивает сэр Оливер в этой чудесной книге: «Раймонда продолжает существование в ином мире, как доказано с помощью теории атомистической химии». Это уже не вопрос веры, а вопрос науки. В разделявшем нас препятствии проделана брешь. Мы находимся в контакте. Сообщения проникают насквозь… Научная очевидность… — Сэр Элифаз прокашлялся. — Мы уже имеем свидетельские показания и отчеты из жизни, в которую мы все перейдем. Вспомните, что это

не праздная болтовня, не трюки Следжеса и ему подобных; эти записи опубликованы большим английским ученым, а большой французский философ — ах, *как* он мыслит! — профессор Бергсон консультировал их публикацию. Слава науки и слава философии объединились, чтобы убедить нас. Наконец-то мы идем в этот предстоящий мир тропой фактов. Мы уже многое знаем о нем. Знаем мы, например, что те, кто переселяются на тот, высший план, по-прежнему обладают телами. Для меня это звучит успокаивающе. Без этого мы бы почувствовали себя какими-то незащищенными. Но, как говорится в сообщениях, там внутренние органы устроены иначе. Естественно. Как и следовало ожидать. Пищеварительный тракт, как я заключаю, практически не существует. Нет необходимости. А поскольку наружный объем остается все тем же, то используется, предполагаю, для каких-то других целей. Для каких-нибудь астральных запасов… У них не бывает кровотечений. Интересный факт. У сестры леди Берроуз теперь практически нет крови. А ее зубы — она потеряла их несколько при жизни и очень страдала от зубной боли, — ее зубы оказались все заменены. Теперь они употребляются только для артикулированной речи.

«— Раймонда снова везде», — произнес доктор.

— Вы читали эту книгу! — воскликнул сэр Элифаз.

Доктор хмыкнул, выразив этим возгласом одновременно и согласие и неодобрение, свойственное рьяному приверженцу науки.

— Мы знаем теперь *подробности* перехода, — сказал сэр Элифаз. — Нам известны некоторые детали. Мы знаем, к примеру, что людям, которые были разорваны на куски, необходимо некоторое время, чтобы телесно восстановиться. Существует взаимосвязь между здешним, портящимся телом и спиритуальным телом, которое заменяет его. Там есть некто вроде духовного доктора, он очень хорошо помогает в таких случаях. Сожженные тела также представляют некоторую трудность… Разница полов все еще различается, но все грубости, связанные с полом, устранены. В этом лучшем мире страсти угасают. Все страсти. Даже привычка курить и тяга к алкогольным напиткам пропадает. Правда, не сразу. Новоусопшие иногда спрашивают сигару. Им дают сигару, сигару высшего, духовного плана, и они больше никогда не вспоминают о курении. Там не рождаются дети. Там нет ничего подобного. Это очень важно понять. Место рождения находится *здесь*;

здесь жизнь начинается. Эта грубая маленькая планета является рассадником жизни. Когда она сослужит свою задачу и заселит те высшие планы, она, возможно, на самом деле замерзнет, как вы говорили. Всего лишь пустая оболочка. Ничего не значащий ящик для рассады, отслуживший свою службу. Таковы мысли, прекрасные, успокаивающие мысли, одобренные нашими высочайшими научными и философскими умами… Считают, что та жизнь существует в каком-то ином измерении пространства, и мир тот разделен на-*планы* — метафорические планы, разумеется, в которых люди могут перемещаться туда и обратно, жить в своего рода домах, окруженные своего рода прекрасными вещами, созданными, можно сказать, из *запахов* тех вещей, которые мы имеем здесь. Это забавно, но вовсе не иррационально. Наша любимая собачка также будет там с нами. Также в сублимированном виде. Мысль об этом утешает леди Берроуз… У нас была собачка по кличке Фидо, маленькое, миниатюрное создание — почти человеческое существо…

Эти блаженные большую часть времени проводят в беседах. Иные их занятия мне просто трудно проследить. Раймонда присутствовала на неком приеме, устроенном на высочайшем

плане. Для нее это было особой привилегией. Возможно, знаком для сэра Оливера. Он столкнулся с истиной богооткровенной веры, так сказать, персонально. Это был замечательный момент. Сэр Оливер опускает наиболее торжественные подробности. Леди Берроуз намеревается написать ему. Ее очень интересуют детали. Но не стану распространяться, — сказал сэр Элифаз, — я не стану долее распространяться.

— И вы верите во всю эту *чепуху?* — спросил доктор тоном глубочайшего отвращения.

Сэр Элифаз замахал на него руками.

— Настолько же, насколько бедные земные впечатления могут передать во плоти спиритуальные явления, — уклонился он от прямого ответа.

Он взглянул на своих коллег с откровенно вызывающим видом. Мистер Фар и мистер Дэд выглядели несколько пристыженно, а у последнего глаза явно покраснели.

Мистер Дэд прокашлялся.

— Я уверен, что во всем этом определенно что-то есть, — сказал он хриплым голосом, стараясь хоть как-то поддержать коллегу.

— Но если я, к примеру, родился на свет с заячьей губой, — сказал доктор, — то будет ли *она*

в том мире исправлена? Будут ли также сублимированы врожденные идиоты? И что станет с собакой, заболевшей бешенством?

— На все эти вопросы, — безмятежно произнес сэр Элифаз, — ответ один: *мы не знаем этого.* А что еще мы могли бы ответить?

4

Мистер Хас, казалось, совершенно погрузился в медитацию. Его бледное, осунувшееся лицо и согбенная поза резко контрастировали с колким выражением интеллектуальной правоты и поднимающимся гневом доктора Илайхью Баррака.

— Нет, сэр Элифаз, — сказал мистер Хас и вздохнул. — Нет, — повторил он. — Что за убогий фантом мира вызывают в воображении эти люди! Что за насмешку над потерями и любовью человеческой! Те же матери и возлюбленные, которые скорбят о своих умерших, не поверят этим дурацким историям. Возрождение! Это же высшая степень оскорбления. Это заставляет меня представить себе не что иное, как тело моего дорогого сына, изломанное и раздавленное, и какое-то существо, наполовину глупца, а наполовину обманщика, сидящее над ним, не дающее мне к нему приблизиться и болтающее дешевую ерунду о каких-то высших планах бытия и об астральных телах…

И в конце концов, сэр Элифаз, вы поучаете меня, что жизнь, несмотря на всю ее грубость, боль и ужас, не настолько плоха, насколько может

быть, — если то, о чем вы говорите, принять за правду. Однако нет нужды в просеивании фактов, чтобы убедиться, что это неправда. Никакой человек в здравом уме не поверит в эти выдумки даже на десять минут. В это просто невозможно поверить.

Доктор Илайхью Баррак зааплодировал. Сэр Элифаз изобразил абсолютную сдержанность.

— Они противоречат структуре всего, что нам известно, — продолжал мистер Хас. — Они гораздо менее убедительны, чем самые дикие бредни. Через боль, через желание, через мускульное усилие, через ощущение капель дождя или солнечного света на лице, через чувство справедливости и подобные ощущения и эмоции люди воспринимают явления, происходящие перед ними. Но то, о чем говорите вы, определенно не является реальностью. Здесь нет ничего от *чувства* реальности. Я не стану даже спорить об этом. Это навязывается страдающему миру в качестве утешения, но даже для людей, ошеломленных горем и поэтому некритически настроенных, такое утешение непригодно. Вас и леди Берроуз может радовать мысль, что однажды вы вдвоем, внешне омоложенные и с реставрированными зубами, снова встретитесь с сублимированной

копией вашего верного Фидо. Но я-то, слава Богу, не обманываю себя и твердо знаю, что никогда не встречусь со своим сыном. Он покинул меня навсегда…

На некоторое время душевные и физические страдания настолько подавили мистера Хаса, что он не мог говорить; однако о намерении продолжать так отчетливо свидетельствовали выражение его увлажнившегося лица и сжатые пальцы рук, что никто не нарушил молчания, пока он не заговорил снова.

— Теперь позвольте мне откровенно высказаться по поводу бессмертия. Поскольку из всех нас я ближе всего стою здесь к этой возможности. Бессмертие — это вовсе не увертка, как вам кажется, от нашего странного мира, такого безнадежного, ужасного, необъяснимого и временами в высшей степени одинокого. Бог во Вселенной может быть, или же его может не быть… Бог, если он есть, может быть до ужаса молчалив… Но если Бог есть, он последователен. Если Бог есть наверху и в системе вещей, тогда не только вы и я и мой погибший сын, а и раздавленная лягушка, и разоренный муравейник *имеют значение*. На этом настаивает тот Бог, что находится в моем сердце. Здесь должен заключаться ответ, касающийся

не только смерти моего сына, но и умирающего пингвина, поджариваемого заживо ради получения масла стоимостью в фартинг. Здесь должен находиться ответ для тех людей, что отправляются на кораблях творить такие вещи. Здесь должно содержаться оправдание для всей мерзости и гнусности вши и червя-трематоды. Я не дам вам соскользнуть на ту сторону, сотрясая астральные планы той жизни и сублимированные атомы, пока здесь, в этом мире, есть матери-алкоголички или люди, погибающие от холеры. Я не буду слушать о Боге, который является всего лишь средством выбраться наружу. Какая бы глупость или зверство ни творились здесь, вам придется приноравливать к этому идею Бога. Иначе не будет никакого универсального Бога, а только холодное, пустое, жестокое равнодушие… Я не смог бы жить в мире с таким Богом, если бы мне пришлось… Я рассказываю вам о черных и мрачных реальностях, и что вы мне отвечаете? Что все нормально, поскольку после смерти мы из них выберемся. Но если я из-под ножа хирурга отправлюсь прочь из этого горячего и усталого мира, а затем проснусь в новом мире любезных бесед и искусственных цветов и обнаружу, что меня вновь собирает по частям астральный док-

тор в ваших потусторонних планах, и волосы мои будут восстановлены, а бреши и дупла между зубами заполнены, — я почувствую себя как дезертир из Собственного рода, словно заразный больной, выползший из больничного изолятора в гостиную… Что ж — моя инфекция останется со мной. Я не смогу говорить ни о чем другом, кроме трагедии, из которой я появился и которая все так же остается — ибо продолжается — трагедией.

И все же я верю в бессмертие!

Доктор Баррак, который до тех пор наблюдал за мистером Хасом с явным одобрением, вздрогнул, издал возглас удивления и протеста и остановил на нем осуждающий взгляд. Однако пока предпочел не вмешиваться.

— Но это не я сам бессмертен, а тот Бог, что внутри меня. Все персональное бессмертие, о котором вы рассуждаете, это насмешка над нашей личностью. Что есть в нас личного, что может выжить? Что делает нас именно нами самими? Не решают ли все здесь какие-то жалкие мелочи, ничтожные отличия, легкие дефекты? За что цепляется персональная любовь? Только за эти мелочи… О! Как нежно и горько любил я своего сына, и что же мое сердце стремится вспомнить сейчас в первую очередь? Его достоинства? Нет! Его

амбиции? Его достижения?.. Нет! Ничего из этих качеств… Только странную красноту, выступавшую у него среди веснушек, резковатый высокий тембр его голоса… какую-то абсурдную надежду в его болтовне… звук его шагов, маленький сбой в их ритме. Именно этих вещей нам не хватало. Именно от этих вещей сжималось сердце… Но все эти приметы сами по себе смертны, это всего лишь дефекты, которые будут убраны на высшем плане бытия, как вы говорили. Вы вернули бы его мне сглаженным, отполированным и подправленным. Но что тогда останется от персональных отличий? Что это оставит от любви?

Если бы у моего сына были сглажены все эти дефекты, тогда бы он сделался, как все другие сыновья. Если бы все пожилые люди были отутюжены, они сделались бы наподобие молодых людей. Нет ничего персонального ни в надежде, ни в чести, ни в справедливости и правде… Мой сын ушел. Он ушел навсегда. Боль тоже однажды может уйти… Не я и не вы продолжим жить. Вечно будет жить Человек, Человек Универсальный, и он продолжит жизнь, трагический бунт в том же самом мире, и ни в каком ином…

Мистер Хас склонился в своем кресле.

— Негасимое пламя горит в сердцах людей.

Благодаря этому пламени я живу. Благодаря нему я познаю Бога моего Спасения. Его воля есть Истина; Его воля есть Служба. Он побуждает меня к борьбе, без всякой поддержки, не обещая наград. Он отбирает, не возмещая. Он растрачивает, не компенсируя. Он страдает — хотя и к вящему своему триумфу, — и мы обязаны страдать и находить нашу надежду на торжество в Нем. Он не позволит мне закрыть глаза в скорби, несостоятельности и замешательстве. И пусть Вселенная мучает и казнит меня, я буду веровать в Него. И если Он также должен умереть — я все равно не брошу свое дело; я должен служить Ему…

Он умолк, и некоторое время никто не промолвил ни слова, так глубоко поразила их напряженность его чувств.

Глава 5
ИЛАЙХЬЮ УКОРЯЕТ ИОВА

1

— Я не знаю, как это все пришло вам в голову, — заметил мистер Фар и резко повернулся в сторону доктора Баррака.

— Да, это интересно, — сказал доктор Баррак, склонив голову на сложенные поверх стола руки, и тщательно обдумывая свою будущую речь. — Это интересно, — повторил он. — Не знаю, насколько откровенно могу я высказать то, что об этом думаю. Вообще-то я человек прямой.

Сэр Элифаз с большой предупредительностью кивнул, жестом приглашая его говорить.

— Здесь была высказана, прошу меня извинить, бессмыслица с обеих сторон. — Доктор повернулся к сэру Элифазу. — Я имею в виду всю эту ерунду с привидениями, — сказал он и сделал паузу, поджав губы и качая головой. — Она совершенно несостоятельна. Я уделял внимание исследованиям в этой области. Я считаю себя в некоторой степени психологом — доктор должен им быть. Разумеется, сэр Элифаз, вы не несете ответственности за всю чушь, которую вы нагородили про сублимированные кирпичи и призрачных собак, состоящих из концентрированных запахов.

Сэр Элифаз дернулся.

— Вот тебе и на! — вырвалось у него. — Но, однако же!..

— Давайте без обиды, сэр Элифаз! Если вы не желаете, чтобы я говорил, я промолчу, но если вы согласны дать мне слово, то я выскажу то, что у меня на уме. И, как я уже сказал, я не возлагаю на вас ответственность за то, что вы здесь наговорили. Вся эта дешевая медиумическая чушь была извергнута в мир сэром Оливером Лоджем и подсунута им людям, обезумевшим от несчастья, в виде толстенного тома внушительного вида… И нет числа простакам, которые попытались воспринять это серьезно… Прискорбно… Я не сомневаюсь, что этот человек честен с точки зрения своих взглядов, но каковы эти взгляды! Упрямое легковерие, выставляемое под видом либерализма. Он принимает все притворства и уловки этих медиумов, он признает все их объяснения, он редактирует их лепет и приводит его в порядок, чтобы он производил наибольшее впечатление. Обратите внимание на его неспособность к критической оценке! Поскольку многие из медиумов вполне респектабельные люди, которые либо не берут денег за свои сообщения, либо берут весьма умеренную плату

— полагаю, обычно гинею за раз, — он настаивает на их честности. Это его ключевая ошибка. Любой врач может сказать ему, как я мог сказать уже после первого года медицинской практики, что сказать правду — это один нечастый триумф человеческого разума. Едва ли кто из моих пациентов вообще говорил правду. У них не то что не было и доли критического мышления и необходимой беспристрастности, они вообще не имели реального желания говорить правду. Им хотелось произвести впечатление. Человеческие существа остаются склонными к актерству; они не ведут себя, как ученые. Они либо преуменьшают, либо преувеличивают. Мы все поступаем так. Я, рассказывая вам, как на улице переехали кошку, придаю истории дополнительную драматичность, преувеличиваю ущерб, нанесенный кошке, размеры телеги и тому подобное. Я захочу оправдать сам факт своего рассказа… А теперь представьте, что здесь в кресле сидит женщина; велите ей закрыть глаза и почувствовать себя в странной обстановке — и она почувствует себя странно почти сразу же; велите ей произносить слова и фразы, которые она обнаружит у себя в голове, и она станет их произносить; дайте ей полунамек, что они приходят из Восточной Азии,

и эта чушь начнет увязываться с ее понятиями о пиджин инглиш. Это вовсе не значит, что она ловко и преднамеренно обманывает вас. Нет, она только идет навстречу вашим ожиданиям. Вы фокусируете на ней свой интерес, а все человеческие существа любят, когда на них сосредоточивается чей-то интерес, особенно если он не слишком враждебный. Она уцепится за этот интерес, как только сможет. Уцепится инстинктивно. Большинству медиумов никогда в жизни не приходилось удерживать внимание полной комнаты народа, пока они не обнаружили такой способ добиваться этого…

Доктор Баррак прокашлялся.

— Но все это побочная сторона вопроса, — продолжил он. — Не думайте, что если я отбрасываю всю эту чепуху о призраках, то я устанавливаю какую-то окончательную границу для науки, которую мы имеем сейчас. Вся наука мира — это лишь слабая тонкая струйка знания. Я допускаю, что могут быть силы, я почти могу сказать, должны быть силы, универсально присутствующие в мире, о которых мы пока не знаем ничего. Возьмите случай с электричеством. Что знали люди об электричестве еще совсем недавно? Практически ничего. Я сомневаюсь, что в раннем неолите

были люди, способные заметить существование такой вещи, как воздух. Я предполагаю, что большинство вещей нам до сих пор неизвестны. И эти вещи находятся у нас буквально под носом. Но они ни на йоту не помогут продвинуться делу сэра Элифаза. Эти неизвестные вещи, как только станут известными, тут же присоединятся к тем, что мы знаем сейчас. Они затруднят или, возможно, упростят восприятие нашего мира, но они не будут противоречить нашим общим идеям. Они будут уже вещами *в* системе. Они не освободят вас из-под власти аргументов, выдвинутых мистером Хасом. И поэтому в том, что касается *вашего* бессмертия, сэр Элифаз, я, как вы понимаете, целиком и полностью согласен с мистером Хасом. Это фантазия, это мечта. Как фантазия, это ничем не лучше скрипящих половиц в спальне; как мечта, это непривлекательно. Что и сказал мистер Хас.

Но когда речь идет о мистере Хасе и *его* бессмертии, то я оказываюсь на вашей стороне, джентльмены. Это тоже мечта. Меньше, чем мечта. Меньше даже, чем фантазия; это игра словами. Тут мы имеем и Негасимое пламя, и Дух Божий в человеке, то есть в самом мистере Хасе, в вас, сэр Элифаз, в вас, мистер Дэд, вот в этом джентльмене,

имя которого я не запомнил, а также и во мне. Удивительным мне кажется, что никто из нас ничего об этом не знает, за исключением мистера Хаса. Как вы сами воспринимаете это, я не знаю, но лично я вовсе не желаю, чтобы меня делали частью Бога заодно с мистером Хасом без всякого моего на это согласия. Я предпочитаю оставаться самим собой. Возможно, это индивидуализм, но такое я уж по натуре индивидуалистическое существо. К тому же я агностик… Вы втянули меня в этот разговор, и я должен через него пройти. Что такое на самом деле агностик? Человек, который полностью принимает ограничения человеческого разума, который берет мир таким, каким его находит, и который находит себя таким, как он есть на самом деле, но при этом склонен идти дальше. Могут существовать в изобилии другие миры и измерения. К примеру, может существовать четвертое измерение, и, если хотите, пятое, и шестое, и любое количество иных измерений. Они не занимают меня. Я живу в этой Вселенной в трех измерениях и имею не больше интереса ко всем этим другим вселенным и измерениям, чем клоп под обоями имеет к далекому и глубокому морю. Возможно, под обоями имеются клопы с разумным пониманием существования моря,

наполовину верящие, что, когда в конце концов ядовитый порошок настигнет их, они все отправятся именно туда. Я — если меня добавить к этой картине как еще одного из них — всего лишь живу под обоями. Я говорю, что я агностик. Мои глаза широко открыты на этот мир с тех пор, как я пришел в него тридцать шесть лет назад. И я не только никогда не видел, не слышал, не обонял и не касался призрака или духа, сэр Элифаз, но я никогда не видел и сияния или знака Провидения, Великого Бога вашего мира или тех, других, меньших и современных богов, которых принимает мистер Хас. В сердцах людей я находил пороки развития, окостенения, сгустки и жировые перерождения, но никогда не находил Бога… Вы извините меня, если я обращаюсь запросто к вам, джентльмены, но этот джентльмен, имя которого я как-то не запомнил…

— Фар.

— Мистер Фар навлек это на себя и на вас. Он втянул меня в разговор, а я давно интересуюсь этими вопросами. Мне ясно, что с тех пор, как мы существуем, в этом всем что-то есть. Но я отклоняю самые дикие догадки призрачников и провиденциалистов — боюсь, что я должен причислить к ним вас, сэр Элифаз, — а также ме-

тафоры мистера Хаса. Факты… — Доктор Баррак сделал паузу. — Я верую в факты.

— В фактах содержится достаточно много, — сказал мистер Дэд, который находил для себя много близкого по духу в прямой манере доктора.

— Что я вижу вокруг себя? — задался вопросом доктор Баррак. — Борьбу за существование. И я спрашиваю просто и прямо: зачем выходить за ее пределы? Вот в чем суть. Эта борьба создала меня. Я изучаю и наблюдаю ее. Меня создали как мишень и не прекращают попыток всячески поразить. Я же делаю все возможное, чтобы увернуться от ударов. У меня забрали одну ногу. Моя голова окровавлена, но не склонилась. Я продолжаю свой род настолько обильно, насколько позволяют обстоятельства, я запечатлеваюсь в этом мире настолько энергично, насколько это возможно. Если я прав и мне будет сопутствовать удача, я смогу продержаться, пока мои убывающие инстинкты не расположат меня к отдыху. Мое потомство — мера моей правоты. Вы можете называть эту борьбу, как пожелаете. Богом, если хотите. Но Бог для меня слишком антропоморфная идея. Назовем это Процессом.

— А почему не Эволюцией? — спросил мистер

Хас.

— Я предпочел бы Процесс. Слово Эволюция, пожалуй, требует морального истолкования. Это дешевое слово. Эволюция кажется чем-то просто и автоматически разворачивающимся. Процесс же сложен; он имеет свои взлеты и падения — как это понимает мистер Хас. Это больше напоминает волю, чем автоматическое действие. Чувствующую волю. Она не безразлична к нам, как уверяет мистер Хас; она использует нас. Она не подчиняет нас, играя роль Провидения только для нашего комфорта и счастья, как хотел бы заставить нас поверить сэр Элифаз. Кто-то из нас оказывается молотом, а кто-то наковальней, кто-то отлетает искрами, а кто-то становится материалом, из которого в результате что-то получается. Процесс ни о чем не сообщает нам; да и зачем ему это нужно? Мы сами узнаем то, что сможем, и извлечем то, что называется практической пользой.

Мистер Дэд, возбужденный словом «практической», издал звук, выражавший согласие; но звук не слишком доверчивый — скорее кредит, нежели подарок для мистера Баррака.

— И вот здесь, мне кажется, мистер Хас совершенно не прав. Он не подчиняется реалиям. Он выставляет нечто, называемое Духом в Человеке

или же Богом в сердце, чтобы судить их. Он хочет судить Вселенную по стандартам человеческого разума на его теперешней стадии развития. Вот тут-то мы и расходимся с ним, ибо это не фиксированные стандарты. Человек находится в постоянном развитии. Некоторые вещи оскорбляют в мистере Хасе чувство справедливости, однако оно не является постоянным критерием. Человеческое чувство справедливости развилось из чего-то совершенно другого в прошлом и разовьется в нечто совершенно отличное в будущем. Как и все остальное в нас, оно было сформировано Процессом и будет им же видоизменяться. Опять же, он говорит, что некоторые вещи некрасивы. Их он также осуждает. Но ничто так не меняется, как чувство красоты. Сборище студентов, изучающих искусство, может основать новое движение: кубизм, вортицизм или любое другое — и переменить ваше чувство прекрасного. У каждого существа тут свои стандарты. Отважусь заметить, что гиены обожают друг друга, по крайней мере в период спаривания… Точно так же обстоит дело с милосердием и со всем остальным. За человеком мы обнаружим сверхчеловека, который может считать милосердие глупостью и находить удовольствие в ситуациях, которые

заставляют страдать наши слабые души. Мы должны подчиняться Процессу на соответствующем месте и в соответствующее время. Вот как я рассматриваю порядок вещей. Такова суровая правда Вселенной, если посмотреть на нее прямо и жестко.

Губы мистера Дэда беззвучно повторили: «Прямо и жестко». Однако внутренне чувствовал он себя весьма неуверенно.

Еще некоторое время доктор сидел, все так же положив руки на стол, а потом продолжил:

— Насколько я понимаю, нынешний разговор возник из дискуссии об образовании.

— Трудно в это поверить, — сказал мистер Дэд.

Но следующее замечание доктора Баррака сдержало рост одобрения со стороны мистера Дэда.

— Мне это представляется совершенно логичным. Одна из особенностей, которые я никогда не мог понять у директоров школ, политиков и тому подобных людей, — как это они считают само собой разумеющимся, что можно заниматься образованием и не вносить в это дело религию, социализм и все свои собственные верования. Что есть образование? Это обучение молодых людей говорить, читать и считать таким образом, чтобы они поняли, как найти свое место в жизни.

Кроме того, мы должны дать понять им, что мы думаем о себе и о мире и какую роль мы хотели бы предоставить им сыграть в этой игре. Ну и как мы сможем одновременно объяснить все это и в то же время не сказать об этом ни слова? Что же такое *есть* игра? Или мы скажем им то, что мы думаем об этой игре, прямо и откровенно, или же мы только сделаем вид, будто занимаемся образованием, в то время как на самом деле ничем подобным не занимаемся. И в этом случае глупые вырастут с путаницей в мозгах и любой старый болтун поведет их наудачу куда угодно, а умные будут расти с идеей, что жизнь — это своего рода пустое мошенничество. Большинство образованных людей так и считают, что это все притворство и мошенничество. Они барахтаются в жизни без толку и никогда не поднимутся против действительности… Удивительно, как люди могут терять свою хватку на гребне реальности — а это и происходит с большинством людей. Вот так мои пациенты приходят ко мне и лгут — даже о своих желудочных болях. Идея об откровенном и разумном общении начисто отсутствует в их головах. Они думают, что могут одурачить меня, исказив факты, и что, когда я буду как следует одурачен, я каким-то образом

обману их желудки так, чтобы они не болели… И теперь мое евангелие гласит — обратись лицом к фактам. Воспринимай мир таким, как он есть, и принимай себя таким, каков ты есть. А фундаментальный факт, перед которым все мы стоим, — это то, что Процесс вовсе не учитывает наши вожделения, страхи, моральные идеи или что угодно другое в этом роде. Он подбирает нас, он пробует нас, и, если мы не выдерживаем испытания, он отшвыривает и приканчивает нас. Это, может быть, неправильно по вашим маленьким человеческим стандартам, но по стандартам звезд и атомов это правильно. Так каким же должно быть настоящее образование?

Доктор Баррак замолчал на мгновение.

— Расскажите им, что такое мир, расскажите им все правила и приемы игры, которой учится человечество, и скажите им: «Будьте сами собой». Будьте собой на полную катушку. Потому что нехорошо быть чем бы то ни было, кроме своего собственного существа… — Доктор Баррак говорил, как человек, который цитирует священную формулу: — *Нельзя унаследовать требуемые характеристики.* Ваша главная суть, основа вашей наследственности подвергается испытанию. Запустите все, что имеете, в Процесс.

Если Процесс требует вас, он вас примет. Если он не хочет вас, подчинитесь. Тут уж вы не сумеете что-либо сделать. Вы можете оказаться кусочком мрамора, который остался внутри статуи, или будете отколоты и отброшены. Тут уж ничем не поможешь. *Будьте собой!*

Доктор Баррак откинулся на спинку кресла; при последних словах он повысил голос и поднял руку, как бы собираясь ударить по столу. Но профессиональная подготовка все же хорошая вещь, и он опустил руку медленно, поскольку вспомнил, что все-таки мистер Хас его пациент.

2

Мистер Хас некоторое время молчал. Он задумался так глубоко, что, казалось, не заметил, что доктор прекратил свои рассуждения.

Затем он очнулся, вздрогнув от наступившей тишины.

— Вы вовсе не настолько отличаетесь друг от друга, как могло бы показаться, — сказал он наконец. — Ваш спор направлен на одну цель, которая весьма далека от избранных вами исходных точек. Вы обвиняете людей, ведущих жизнь в послушании.

— Нет, не в послушании, — заметил как бы в качестве сноски доктор Баррак.

Но мистер Хас продолжал:

— Вот вы говорите, сэр Элифаз, что эта Вселенная находится под управлением Провидения, всеведущего и благожелательного. Что оно ведет наш мир к целям, понять которые нам не дано; что цели эти были бы желанны, если бы мы их знали, но непостижимы нашим разумом; что жизнь и вся Вселенная есть не что иное, как исходная точка для множества развивающихся бессмертных жизней. И из этого вы заключаете,

что роль человеческого существа в этом замысле сводится к роли доверчивого ребенка, от которого требуется только не надоедать Высшим Силам, а они ожидают от него только соответствующих замыслу действий, чтобы надежно охранить его, вознаградить и позаботиться о нем.

— В этом заключено много простой истины, — отозвался сэр Элифаз, — над которой вы можете сколько угодно насмехаться.

— Однако ваш взгляд более мрачен, доктор Барак; Процесс, о котором вы говорите, находится за пределами нашего познания и контроля. Мы не можем изменить его или умиротворить. Одних из нас он делает сосудами благочестия, а других — сосудами бесчестья. Он небрежно написал имя нашего рода на черной пустоте пространства и может стереть его снова. Таково качество судьбы. Но мы можем следовать нашим маякам и инстинктам… В конечном счете в практических вопросах ваше учение шагает рядом с учением сэра Элифаза. Оба вы повинуетесь порядку вещей; только он с радостью и верой — и с некоторой старомодной галантностью, а вы зловеще — в модернистском стиле…

Некоторое время мистер Хас сидел, сжав губы и словно прислушиваясь к боли внутри себя. Затем

он сказал:

— Я — нет. Я не подчиняюсь. Я восстал — не от моей собственной силы и не по собственному побуждению. Я восстал от имени Духа Божьего во мне. Я восстал не только для того, чтобы своими слабыми жестами выразить неповиновение черному беспорядку и жестокости времени и пространства, но и для того, чтобы добиться превосходства. Я — повстанец гордости, я полон гордости Господней в моем сердце. Я — служитель Бога, восставшего и безрассудно смелого, который может все-таки принести порядок в этот жестокий и ужасающий хаос, где всех нас швыряет туда-сюда, словно листья на ветру, Бога, который вопреки всей видимости может все-таки возобладать над миром и сформировать его по своей воле.

— Что же за мир это должен быть? — прошептал мистер Фар, не в силах сдержаться и уже почти стыдясь своей насмешки.

— Что это за мир, Фар?! Разве он не служит даже *вам*? Он поворачивает свой лик к вам даже сейчас — в тот самый момент, когда вы насмехаетесь… Но вы чувствуете, насколько я отличаюсь от всех вас. Вы понимаете, что дух моей жизни и моего преподавания — моего учения, несмотря на их

слабость, промахи и ошибки, — это борьба против того Темного Существа Вселенной, которое стремится сокрушить всех нас. Которое нависает надо мной сейчас, когда я говорю с вами. Это борьба против беспорядка, отказ от покорности, на которую вы согласились, полное отречение от добровольной смерти при жизни.

Он облизал губы и продолжал:

— Цель и сущность полного реального образования состоит в том, чтобы учить мужчин и женщин битве Господней, учить их началам жизни на этой одинокой маленькой планете среди бесконечных звезд. И тому, как эти начала должны разворачиваться; показать им, как человек за долгие века возвысился среди животных, рассказать о природе борьбы, которую Господь проводит через него, и вывести всех людей совместно из их индивидуальностей в общую жизнь к общему усилию вместе с Богом. Природа борьбы Господа и является сутью нашего диспута. Это борьба с надеждой на победу, но без гарантии. Вы спорили, сэр Элифаз, что это нереальная борьба, ложная борьба, в то время как все вещи в точности устроены для нашего конечного счастья, а когда я слегка напомнил вам о незамаскированных ужасах вокруг нас, вы перенеслись в другой

— совершенно невероятный — мир.

Сэр Элифаз выразил несогласие музыкальным звуком и, когда мистер Хас сделал паузу, взмахнул своей длинной рукой и взглянул на него.

— Но продолжайте же! — сказал он. — Продолжайте!

— А теперь я перехожу к вам, доктор Баррак, и к вашему современному фатализму. Вы утверждаете, что Вселенная неконтролируема — в любом случае. И непостижима. В добре или во зле мы не можем быть ничем более наших напряженных собственных сущностей. Вы должны, как вы сказали, *быть самим собой.* Я же отвечаю: при этом вы потеряете себя в чем-то неизмеримо большем — в Боге… В наших взглядах, доктор, есть любопытное подобие и забавное различие. Я думаю, вы видите мир во многом таким же, каким его вижу я, но вы видите его холодным, как перед восходом солнца, а я…

Он помолчал.

— Над ним есть свет, — заявил он с заметной вялостью в голосе. — Там есть свет… Свет…

Хас умолк. На минуту показалось, что свет, о котором он говорил, ушел из него и его накрыла набежавшая тень. Когда он заговорил снова, было видно, что делает он это с явным усилием.

Он повернулся к доктору Барраку.

— Вы думаете, — сказал он, — что в этом вашем Процессе есть воля, которая приведет вещи куда-то, к чему-то определенно более величественному, лучшему или прогрессивному. Я же утверждаю, что воли нет нигде, за исключением нас самих. Если она существует вообще… Я утверждаю также, что ваша максима «будьте самими собой» — всего лишь парадокс, поскольку мы не можем стать самими собой до тех пор, пока не растворимся в Боге. Я говорил сэру Элифазу и вам с тех пор, как вы вошли сюда, о безграничном зле и беспорядке в природе. Позвольте мне сказать вам теперь о бесконечном несчастье, которое возникает от беспорядка среди людей и может длиться век за веком, пока люди либо воссоединятся в духе и правде, либо будут уничтожены из-за своей собственной непоследовательности. Я не знаю, погибнут люди или будут спасены. Были моменты, когда во мне побеждала уверенность в том, что Бог восторжествует в нас… Однако мрачные тени опустились над моим духом… Оцените теперешнее положение дел человеческих, обдумайте, где люди находятся на сегодняшний момент. Они еще не начали глубоко и откровенно вглядываться в реальность; по их выражению,

они воспринимают жизнь такой, как они ее находят, поскольку они *таковы, каковы они есть.* Беспечные по отношению к фактам истории, они нс осознают, что на самом деле все они участники одного гигантского приключения во времени и пространстве. Уже четыре года мир втягивается все глубже и глубже в трагедию… Наша жизнь, казавшаяся такой стабильной, становится все более и более ненадежной… Шесть миллионов солдат, шесть миллионов молодых людей были убиты только на полях сражений; втрое больше их получили ранения и искалечены. Примерно столько же гражданских лиц было истреблено. И это только начало бедствия, обрушившегося на наш род людской. Все межчеловеческие отношения были искажены, урожаи, дороги, корабли уничтожены; и за кровавой пеленой этой военной трагедии теперь проглядывает изможденное несчастное лицо всеобщего голода, а за голодом следуют его неизбежные спутницы — эпидемии. Вы, джентльмены, сыгравшие столь полезную роль в поставке вооружений для войны, не зря потратили время и энергию. Вы можете сказать мне, что я потерял веру, если заявляю, что не вижу ни в чем оправдания опустошениям и разрухе последних четырех лет и ожидающим нас

впереди еще большим потерям, духовному смятению, нищете и болезням. Вы можете сказать мне, что мир получил урок, которого он не мог получить никаким другим путем, что теперь мы должны основать Мировую Лигу Наций и покончить с войнами. Но на каком фундаменте вы намереваетесь основать вашу Всемирную Лигу Наций? Какие фонды вы создали за последние четыре года, кроме руин? Существует ли какая-то общая идея, какое-то взаимопонимание хотя бы в умах людей? Они по-прежнему воспринимают мир таким, каков он есть, они держатся своих непоколебимых сущностей сильнее, чем когда-либо, и ниже тех немногих, которые дерутся за прибыли, накапливается все больше и больше тех озверелых толп, которые вступают в схватку из-за хлеба. В умах людей нет никаких общих идей, на которых мы могли бы что-то строить. А на чем можно объединить людей, как не на общих идеях? Школы проиграли этот мир. Какие общие идеи существуют сейчас в мире? Громкие вопли газет, позы политиканов… Разве вы не видите хаос, накатывающийся с востока Европы, отламывающий от Западной Европы кусок за куском и обрушивающий ее в бездну волнений? Искусство, наука, рациональное мышление, твор-

ческие усилия — все это почти прекратилось в России, и, возможно, прекратилось на несколько столетий; умирает все это и в Германии; университеты на Западе обескровлены и лишены молодежи. Война, которая поначалу казалась рассветом великой эры, потеряла свое значение перед лицом огромного бедствия. Французы, британцы и американцы отбивают сейчас германцев от Парижа. Смогут ли они отогнать их на достаточное расстояние? Не ослабнет ли нынешнее контрнаступление и не провалится ли оно, как это произошло с другими? Какая из сторон выдохнется первой на этот раз, вряд ли имеет значение для критического факта, а критический факт — это взаимное истощение, как моральное, так и материальное, невозможность что-либо воспринимать, прекращение даже таких попыток, ослабевание всяческого рода усилий…

— Что же хорошего в таком отчаянье?! — воскликнул мистер Дэд.

— Это не отчаянье. Нет. Но что толку лгать о надежде и успехе посреди краха и надвигающегося бедствия. Что толку говорить о победе человечества — автоматической — над духом зла, когда человечество явно теряет позицию за позицией, явно теряет мужество? Что толку притворяться,

что порядок и благоволение, или своего рода блестящий и непостижимый Процесс, присутствуют в этом гноящемся разорении, в этом безысходном запустении? Здесь повсюду отсутствует причина, нигде нет творчества, кроме этого негасимого огня, этого духа Божьего в сердцах людей… который может потерпеть неудачу… может проиграть… который, как мне кажется, проигрывает.

3

Он замолчал. Доктор Баррак прокашлялся.

— Я не хотел бы показаться косным, — сказал доктор Баррак. — Я хочу уважать глубокие чувства. Глубокие чувства следует уважать… Но в собственной своей жизни я никак не могу придавать серьезное значение фразе: «*Дух Божий в сердцах людей*». Это, пожалуй, противоречит моим привычкам беспокоиться о пациенте, но это так интересно… это настолько исключительный случай. Мне хотелось бы спросить у вас, мистер Хас, откровенно — вкладываете ли вы в эти слова нечто намного большее, нежели в обычную фразу?

Ответа не последовало.

— Слова, — произнес мистер Дэд, — это всего лишь слова. Если бы мистер Хас провел хотя бы три военных месяца, руководя крупным промышленным предприятием…

— Мой разум настроен скептически, — продолжал мистер Баррак, удостоверившись, что мистер Дэд не слишком стремится заканчивать свое высказывание. — Я предпочитаю вещи, которые я мог бы ощутить и пощупать. Я агностик по

своим убеждениям, по привычкам и профессии. Прирожденный Фома Неверующий. Но там, где речь идет о мироздании, мистер Хас во многом оказывается таким же агностиком. Даже больше. Он сомневается, есть ли во всем этом хотя бы следы какого-то плана или цели. То, что я называю Процессом, он называет бурным запустением. Он видит Хаос все еще находящимся в ожидании Творца. И затем он выдвигает против этого свой неугасимый огонь, этот Дух Божий, который пылает в нем и только ожидает, когда он возожжет его в нас, как некий мятежный ученик Творца. Ну, и…

Доктор, нахмурившись, задумался над своими словами.

— Я хотел бы получить больше практической пользы от этого огня. Я признаю определенную поэтичность в этой идее, но я прямой и практичный человек. Покажите мне то, по чему я смогу опознать это пламя и узнавать его снова, когда опять его увижу. Я не хочу спрашивать, *почему* оно неугасимое. Мне незачем во все это влезать. Но что значит это неугасимое пламя среди реальных вещей и в нашей повседневной жизни? Каким-то путем оно связано и перемешано с преподаванием истории в школах. — Легкая

нота насмешки заставила его взглянуть на лицо справа. — Это вовсе не шокирует меня своей странностью, как, похоже, оно задевает мистера Фара. Меня это интересует. Для этого есть свое основание. Но мне кажется, что несколько звеньев мистер Хас не показал и некоторые жизненные моменты он нам до сих пор не объяснил. Этот неугасимый огонь — есть нечто пылающее в мистере Хасе, и я догадываюсь из довольно широкой цепи намеков, что, по его мнению, он должен гореть во мне — и в вас, джентльмены. Это «нечто» должно заставить нас забыть наши небольшие персональные различия, заставить забыть о самих себе и включить нас в общий строй, направленный против чего-то. Против чего? — это мой первый вопрос. Я не вижу силы или ценности, ради которой мы встали бы в этот строй. *Мне* кажется, что мы сражаемся друг с другом по необходимости и в согласии каждый со своей натурой. И в этой борьбе мы отполировываем друг друга и заостряем наши грани. Я считаю, что из этой борьбы за существование возникают все более совершенные и лучшие вещи. Их, может быть, и нельзя считать лучшими по каким-то определенным стандартам, но по стандартам Процесса они таковыми являются. Порою мельницы Процесса

могут показаться нам непреодолимо жестокими, высокими и беспощадными; все зависит от масштаба. Однако мистер Хас не верит в эту борьбу. Он хочет взять людские умы и обучить их так, чтобы они перестали бороться друг с другом, а жили и работали все вместе. *Для* чего? Это мой второй вопрос — *для чего*? В моей идее постоянной борьбы, непрестанно длящейся ради всеобщего улучшения, есть рациональное зерно. Эта идея, во всяком случае, дает нам направление и ведет нас куда-то; но я не вижу рациональности в заявлении, что мы по-прежнему будем бороться, и даже упорнее, чем прежде, но в то же время должны прекратить ту битву, которая двигает жизнь вперед. В этом заключается парадокс мистера Хаса. Когда прекратится конкуренция и здесь, и за рубежом, когда птичка и ее добыча-еда придут к удовлетворительному взаимопониманию, когда этот дух его человеческого Бога будет править и в джунглях, и на море, то куда мы тогда направимся? Время будет разворачиваться по-прежнему. Но человек остановится. Мистер Хас смотрит на меня так, будто я несправедливо сужу о нем. Хорошо, тогда он должен ответить на мои вопросы: *против* чего поведет нас этот Человеческий Бог и *для* чего мы будем жить?

4

— Позвольте мне рассказать вам сначала, против чего борется Дух Божий, — начал мистер Хас. — Я не стану обсуждать, создал ли этот ваш Процесс какие-либо добрые вещи; все добрые вещи в человеке он создал наравне со злыми. Он творил их, не различая. В нас — в некоторых из нас — он создал волю к отбору случайно рожденного добра и к отделению его от случайно рожденного зла. Дух Божий вырастает из вашего Процесса так, как если бы он являлся его частью… За его исключением, добро и зло здесь невероятно перепутаны; добро расцветает в дурных вещах, а злые вещи и дела порой частично окупаются их добрыми последствиями. «Добро» и «зло» имеют значение только для нас. Процесс же безразличен; он создает, он разрушает, он благоприятствует, он досаждает. За свой собственный счет он сохраняет ничто и продлевает ничто. Он попросту беззаботен. Однако для нас он создал возможности. Жизнь есть возможность. Жизнь есть возможность до тех пор, пока мы держимся, вцепившись в жизнь и в Процесс, пока мы находимся в нем и пока он, Процесс, сделавшись

снова неконтролируемым, в конце концов не выкинет нас прочь. Где-то в закоулке вашего ума, доктор, теплится надежда на счастливый исход, так же как и в мозгу сэра Элифаза. Я вижу глубже, потому что я не ослеплен здоровьем. Вы думаете, что за человеком придет некто вроде блестящего супермена? Здоровая иллюзия! Никто не появится за человеком, кроме самого человека, пока люди будут такими, какие они есть. Мы можем быть сметены с лица Земли с той же беззаботностью, с какой были созданы, и на смену нам придет что-нибудь другое, не обязательно лучшее и не обязательно худшее, просто другое, чтобы быть сметенным в свою очередь. И пока Дух Божий, который живет в нас, нс сможет поднять нас, чтобы мы захватили этот мир для Него и для себя, такой будет оставаться природа вашего Процесса. Ваш Процесс — это все еще хаос; человек — это пока возможность, преходящая возможность создания порядка в пустыне… Люди говорят и пишут об этой великой войне, которая сейчас раздирает мир, как о драматическом событии, имеющем важные последствия. Они говорят, что она была очищением, великим уроком, фазой истории, знаменующей конец войн и разделов. Так могло бы быть, но так

ли это на самом деле и будет ли оно так? Чуть раньше я просил вас бросить прямой взгляд на реалии животной жизни, на жизнь в общих чертах, как мы ее знаем. Я думаю, мне удалось хоть немножко убедить вас, что не зря мне представляются пустым занятием поиски здесь какого бы то ни было естественного счастья. Бедные звери и другие создания обязаны страдать. А теперь я спрошу вас, что вытворяли и переносили люди во время этой войны? Ясно, что они показали исключительную плодовитость и сообразительность в изобретениях, а также удивительную способность к самопожертвованию и храбрость. Но все это, замечу, — равно как боль и агония, которой они подверглись, — мало чему или вовсе ничему не научило род человеческий, а эти их изобретения были использованы главным образом для его уничтожения. Единственный урок и единственное изменение к лучшему, которое может быть извлечено из этой войны, произойдет, если люди, воодушевленные Божественной храбростью, скажут: «С этими и им подобными вещами должно быть покончено…» Но я, увы, не ожидаю, что они это скажут. Зато я замечаю огромное количество человеческой энергии и способностей, которые были направлены и до

сих пор направлены на дела, ведущие прямо к пустоте и погибели. Самой опустошительной вещью в этой войне оказалась не глупость и не жестокость, но черта извращенности, проходящая через нее. И, вопреки оскудению интеллекта, вызванного войной, вопреки абсолютной неспособности добрых сил жизни задержать войну и закончить ее, я предлагаю вам взвесить тот разум и самоотверженность, которые были потрачены на такое действо, как газовая атака. Обратите внимание на искусность и отработанность во всех деталях; различные типы употребляемых снарядов, доведенные до совершенства устройства для замедленного выпуска газа с расчетом захватить людей неподготовленными после того, как они снимут свои маски. Один метод, особенно излюбленный теперь германцами, предусматривает одновременное использование двух типов газа. Они берут вначале не слишком смертоносный, но очень тонкий газ, который проникает под маску и вызывает тошноту и позывы к рвоте. Человека охватывает страх, что рвота может засорить фильтр маски и он задохнется, — и тогда он срывает свою защиту в приступе паники. И тут второй газ, более ядовитый, более смертельного типа, вступает в действие. Его человек вдыхает

полной грудью. У него перехватывает дыхание; он понимает, что наделал, но уже поздно. Смерть уже схватила его за горло, и до самого конца он испытывает ужаснейшие муки и страдания. Он кашляет, шатается, падает, корчится на земле в судорогах и смертной рвоте… И умирает, напрягаясь и хрипя, с выпученными глазами… Вот как людей убивают сейчас; и это всего лишь один из множества способов, отвратительных, недостойных и чудовищных, но интеллигентных и технически совершенных… Вы не станете отрицать, доктор Баррак, что упомянутая замысловатая смесь является одним из последних плодов вашего Процесса. К ней ваш Процесс и подвел людей от мотыги и пастушества неолитических времен.

Теперь скажите мне, как дальнейший прогресс человечества в каком бы то ни было направлении закреплен этим утонченным цветком Процесса? Интеллектуальная энергия, индустриальная мощь использовались без ограничения, чтобы сделать возможным этот ужас; огромное количество храбрых молодых людей изуродованы или убиты. Есть ли в этом какой-нибудь отбор? Можете вы вообразить себе, что, шагая вдоль этих шеренг, люди вообще придут хоть куда-нибудь?

Почему они делают такие вещи?

Ими не руководит всеобщая тяга к злу. Если вы возьмете серию исследований и разработок, проведенных в последнее время по использованию ядовитых газов, вы обнаружите, что эти работы велись преимущественно дружелюбными, честными и добродетельными, благонамеренными людьми. Каждый из них *вложил свою частицу,* как сказал бы мистер Дэд; каждый из них, используя вашу фразу, доктор, был *самим собой* и воспользовался своим дарованием в соответствии с движением мира вокруг него; каждый из них, сэр Элифаз, честно *воспринимал мир таким, каким он его находил.* Они жили в неинформированном мире без общего взаимопонимания и коллективного плана, в мире, не ведающем о своей настоящей истории и не имеющем концепции будущего. И в эти ужасы они сползли из-за недостатка мирового образования. Из совершенных ужасов не было извлечено никакого урока, и не возникла никакая воля по той же самой причине. Каждый человек живет невежественно в своих собственных обстоятельствах, от куска до куска хлеба, изо дня в день, во власти то одного, то другого болтуна-политикана.

Позвольте мне привести еще пример пути, по

которому человеческие способности и энергия, если их предоставить самим себе — без координации, без общего базиса и цели, без Бога, — кинутся в тупики и закоулки обычных ужасов; позвольте мне немножко напомнить вам о том, что такое подводная лодка и что она собой знаменует. В этой стране мы вспоминаем о подводной лодке, как об орудии убийства; но мы думаем о ней как о чем-то занятно придуманном и, уж во всяком случае, не мучающем и нс уничтожающем тех, кто ею управляет. Я не стану напоминать вам истории, заполняющие наши газеты, и рассказывать о людях, тонущих ночью, о переполненных шлюпках, заполненных моряками и пассажирами, которые расстреливаются шрапнелью и топятся, о людях, которые пытаются выбраться из моря на нападающую подводную лодку, а у них отбирают спасательные пояса, чтобы они наверняка утонули после ее погружения. Нет, я хочу, чтобы вы подумали о подводной лодке как таковой. Есть род безумного поверья, что убийство, пусть даже жестокое, оправдывается выживанием убийцы; мы считали так, извиняя, к примеру, уничтожение коренных тасманийцев, которых пристреливали, если они попадались на глаза, или оставляли на их тропах отравленную

пищу. Но чудо подводных лодок состоит в том, что они мучают и убивают собственные свои команды. Они явились чудесами недальновидной изобретательности германцев и их противников, послужившей для никому не выгодного, бессмысленного разрушения. Они примеры почти что квинтэссенции замысловатой бесполезности и ужаса, куда загнали человечество отдельные идеи о жизни, идеи о ее воинственной и соревновательной сущности.

Возьмем простого немецкого парня, с весьма недалеким умом, с обычной человеческой расположенностью к доброте и некоторой долей храбрости, ставшего в конце концов моряком на одной из этих лодок. Рассмотрим его случай. Вы найдете в нем пример того, что мы делаем для человечества. Ребенком он был сообразителен, способен, восприимчив. Был он также эгоистичен, жаден и подозрителен. Его было легко увлечь и легко напугать. Он любил делать вещи, если знал, как их делать; он был способен к привязанности и к обиде. Он был чистым листом бумаги, на котором можно было написать что угодно. Его учили родители, приятели, школа. Говорили ли они ему что-нибудь о великой истории человечества? О кровном братстве со

всеми людьми? Сказали ли они ему что-либо об открытиях, об исследованиях, об усилиях и достижениях человечества? Нет. Они говорили ему, что он принадлежит к чудесной белокурой расе, единственной, которая что-то значит на этой планете. (Такая исключительная раса никогда не существовала; это всего лишь ложь, предназначенная для истребления людей.) Все эти учителя внушали ему подозрительность, ненависть и презрение ко всем другим расам. Они набили его голову страхом и враждебностью. Все германское, как утверждали они, хорошо и блистательно. Все негерманское опасно и зловредно. Они взяли в пример несчастного актера — германского императора — и прославляли его до тех пор, пока он не засиял в мозгу этого парня подобно звезде… Мальчишка рос моральным уродом; его способности к преданности и самопожертвованию свелись к фанатической лояльности по отношению к кайзеру и ненависти ко всему иностранному. Пришла война, и юноша выказал огромное желание отправиться туда, где он нужнее всего. Ему сказали, что война субмарин — верный способ нанести врагам его страны завершающий удар. Служить на подводной лодке — значило быть на острие копья. Он считал, что напрасно надеяться

быть принятым на такую жизненно важную службу, на которую могут рассчитывать разве только принцы. Но ему повезло; он был признан годным. Его стали готовить на подводника… Я не знаю, джентльмены, насколько глубоко вы помните вашу юность. Директор школы, пожалуй, лучше помнит свои юные годы, чем другие люди, потому что ему непрерывно напоминают о них. А ведь это время самых чистых помыслов, безграничных амбиций, острого, едва пробудившегося чувства красоты. И молодой человек видел себя героем, сражающимся за своего полубожественного кайзера, за дорогую Германию, против холодных и злобных варваров, сопротивляющихся ей и готовых ее погубить. Он прошел через муштру и обучение. И вот он в первый раз спустился внутрь подводной лодки через узкий люк. Это была несколько холодная, но чудесная, волшебная машина. Как могло это средоточие изобретений, усовершенствований, прекрасных металлических деталей, замечательного технического мастерства не быть воплощением правоты? В его голове роились видения, в которых гордые вражеские боевые корабли, получив сокрушительный удар, переворачивались и тонули в морских волнах, а он наблюдал за делом

своих рук сурово и гордо, со сдержанным ликованием и чувством, что Германия отмщена…

Вот как было сформировано его сознание. Сознание такого рода создано и создается в мальчиках повсюду в мире… Вся беда в том, что нс существует общего плана, — каждая личность при воспитании этого мальчика, так же как и каждая личность при создании подводной лодки, должна «быть самой собой» и «внести свою долю», следовать собственным побуждениям и интересам, не обращая внимания на целое, невзирая на любой план или цель в делах человеческих, не ведая о Духе Божьем, который мог бы объединить нас и повести к общему употреблению всех наших способностей и энергии.

Но позвольте мне продолжить историю нашего молодого человека… Наступил день, когда он осознал реальный смысл работы, которую выполнял на своем посту. Он стоял у одного из орудий субмарины во время атаки на какой-то несчастный грузовой пароход. И тут ему стало ясно, что война, которую он ведет, это не героическая схватка за величие или превосходство, а простое уничтожение морского транспорта. Он видел расстреливаемый маленький корабль, видел, как ранили и убивали несчастных людей,

и это были не тираны морей, а обычные моряки — такие же люди, как и он. Он видел, как их шлюпки разлетались на куски. Обычно такие затопления происходили на рассвете и при закате солнца, при стелющемся свете, создававшем мир черных линий и силуэтов, раскачивающихся на медленной зыби холодно сверкающих волн. А маленькие черные предметы, барахтающиеся и пропадающие среди обломков, как он с недоумением осознавал, были головами людей, его братьев…

Для сотен тысяч людей, вступивших в эту войну с ожиданием ярких, романтических и потрясающих переживаний, первое совершенное ими убийство обернулось ужасной потерей иллюзий. И ни для кого эта потеря не была такой острой, как для экипажей подводных лодок. Ощущение своей правоты и чистоты, которое вдохновляет людей на битву, должно исчезнуть полностью при этом первом взгляде на реальность. Наш моряк должен был спросить себя: *что я делаю?..* Ночь, наверное, он провел без сна и в ужасном сомнении, а перед глазами у него стоял все тот же вопрос…

Мы в этой стране слишком часто браним команды германских субмарин. Но большинство из

нас, оказавшись на их месте, были бы вынуждены делать то, что делали они. К работе, которой им пришлось заниматься, они подошли шаг за шагом, логически, неизбежно, потому что наш мир был согласен плыть по течению ложных предпосылок и непродуманных допущений, касающихся национальностей, рас и общего порядка вещей. Такие события случились потому, что техническое образование людей было поставлено лучше, чем их историческое и социальное образование. Как только люди оказались не в состоянии воспринять идею единого человеческого общества и потеряли контакт с этой идеей, которая является сущностью всей истинной истории и основного учения Бога, сползание их к таким организованным мерзостям сделалось неизбежным. Люди в нашей стране, которые так же непоследовательны в своем мышлении и подобным же образом склонны к сползанию в родственные тупики поведения, должны были бы подвергнуть этих людей с подводных лодок пыткам, чтобы показать превосходство своих собственных моральных стандартов.

Но эти люди и на самом деле выносят пытки. Побудем еще чуть с моим парнишкой на подводной лодке. Я попытался представить вам его

раненую совесть в момент, когда его субмарина совершала убийство. Однако такие эпизоды не слишком часты. Большую часть времени лодка находится под водой и является объектом охоты. Поверхность моря кишит враждебными судами; гидропланы и наблюдательные шары ищут ее. Каждый раз, когда субмарина поднимается чуть ближе к поверхности, ее могут заметить с гидроплана, и тогда с неба на нее обрушится сокрушительный удар. Даже тогда, когда она погружается глубже предела видимости в мутные воды Северного моря, шум винтов выдает ее присутствие подслушивающим аппаратам, а удачная глубинная атака может закончить ее карьеру. Я хочу, чтобы вы подумали о повседневной жизни этого юноши в подобных условиях. Я хочу, чтобы вы поняли, куда ведут его ложные идеи — не его идеи, а те ложные идеи, что правят в окружающем мире.

Метод обнаружения путем прослушивания постоянно совершенствуется, и теперь наши миноносцы могут гонять подлодку порой по шестнадцать-семнадцать часов, следуя за ее звуками, как гончая преследует свою жертву по запаху. В конце концов, если субмарина не может стряхнуть с хвоста преследователей, ей прихо-

дится подняться на поверхность и вступить в бой или сдаться. Это самая странная игра в жмурки, в которую когда-либо играли человеческие существа. Подводная лодка петляет и изворачивается, в свою очередь прислушиваясь к шумам охотников на поверхности. Приближается или затихает звук их двигателей? Хотя можно опуститься на грунт и отлежаться в тишине на илистой отмели, подводная лодка и в таком положении все же тратит электроэнергию, так что неизбежно ей приходится выходить на поверхность и перезаряжать батареи. Команду лодки по возможности держат в неведении о ходе охоты. Намеки моряки извлекают из страха или раздражения своего командира, из поспешности или разноречивости его приказов. Что-то происходит — они точно не знают — что, но понимают, что дело может кончиться плохо. Если преследователи предпринимают глубинную атаку, они знают о ней наверняка по ударам кулака смерти, который отыскивает их в темноте… Страх глубинной атаки всегда преследует воображение подводника. В любой час без предупреждения может раздаться гул, и удар известит его, что разрушительная сила напала на их след. Хрупкое судно швыряет и раскачивает с носа на корму, людей бросает во

все стороны. То же происходит и с нашим юношей. Он осыпает руганью проклятых англичан. И если вы серьезно подумаете, то кого еще ему остается проклинать? Чуть глубже — и заклепки начинают поддаваться, пропуская струйки воды под давлением в несколько атмосфер. Еще чуть глубже — и вода начинает проникать сквозь трещины и дефекты металла, воздух сдавливает легкие, начинается затяжная борьба лодки со смертью, и через несколько часов беспомощных страданий она задохнется и утонет, как крыса в затопленном туннеле…

Подумайте о жизни в бесконечном дурном предчувствии в этом ограниченном пространстве под толщей воды. Воздух здесь почти всегда спертый, и в нем ощущается что-то ядовитое. Любого рода несчастье может приключиться в этой консервной банке, полной механизмов, готовых изрыгнуть удушливые испарения или вредоносные газы. Струя хлора, например, может уведомить команду о протекших аккумуляторах. При первом же дуновении хлора подводная лодка должна подняться, невзирая на любой риск… И нигде ни малейшего сухого местечка. Поверхности всех аппаратов и переборки запотевают непрерывно; за исключением тех мест,

где механизмы выделяют немного тепла, всю конструкцию пронизывает влажный холод. Вы когда-нибудь видели толстый пласт китового жира? Только с помощью такого чудовищного слоя изолятора киту удается удерживать тепло в своем теле, вопреки холоду окружающей воды. Субмарина не может позволить себе никакого защитного слоя. В ней царит температура темных глубин. И эту жизнь в холоде, страхе, удушье, головной боли и тошноте едва может поддержать горячая и питательная еда… Подводная лодка перемещается очень легко; она, разумеется, не тяжелее и не легче той воды, в которой плывет, и, случайно коснувшись дна на мелководье, она подпрыгивает, как резиновый мяч на мостовой. Моряков внутри кидает в разные стороны и ударяет об аппараты.

Таковы черты повседневной жизни в субмарине, когда она остается под поверхностью. Теперь подумайте, к чему ведет всплытие. Она не всплывает, пока перископ не исследует небо и море поблизости. Вокруг чисто? Слава Богу. Она выходит на поверхность, и некоторые моряки подымаются наверх глотнуть чистого воздуха. Не все, потому что для всех не хватит ни места, ни времени выбраться наружу. Но счастливчи-

кам, которые выбираются на крышки люков, удается даже погреться на солнце. Подняться на поверхность в спокойном открытом море вдали от всяких корабельных путей — это тайная мечта каждого подводника. Но предположите, что кто-то показался в виду. Тогда подводная лодка должна подниматься с чрезвычайной осторожностью. Этот кто-то выглядит как безобидное судно, как пассажирский лайнер, траулер, сухогруз. Но не окажется ли эта безобидность мнимой? Как знать человеку на субмарине, нет ли там пушки? Какая новая уловка охотников может скрываться под невинной маской? Пока корабль не уйдет на дно, подводники не будут уверены, что для них не припасен какой-нибудь неприятный сюрприз. Приближаясь к судну, они вынуждены оставаться в неведении относительно контратаки, которая может последовать. В результате эти люди боятся каждого корабля, с которым встречаются в море.

Поэтому стоит ли удивляться, что они ведут себя суетливо и истерично, что они проклинают и оскорбляют несчастных людей, которым предлагают утонуть, что они неожиданно начинают по ним стрелять и совершают другие странные и отвратительные поступки? Подводник — это не учтивый капитан на шканцах. Он

вынужден жить в состоянии крайнего страха при интенсивной физической нагрузке, сталкиваться с огромным риском и получать приказы, вынуждающие его совершать такие позорные преступления, какие, казалось бы, ни один человек не может совершить. Он сам уже находится в аду.

Германцы делают все возможное, чтобы поддержать моральный дух команд. Английский капитан, проведший две недели в плену на одной из немецких субмарин и недавно отпущенный, рассказывает, что, потопив торговый корабль, они играли победные марши на граммофоне. Вообразите себе это мрачное празднество!

Неизбежный конец подводника, если он не окажется счастливчиком и не попадет в плен, это смерть, причем самая ужасная и медленная смерть. Поздно или рано она его все равно настигнет. Некоторые не возвращаются вообще из первого своего похода. Если же они вернулись, на берегу следует короткая попойка; и они тут же уходят снова. Возможно, они вернутся во второй раз, возможно — нет. Средняя продолжительность жизни подводной лодки — менее пяти походов в море. Из команд субмарин, открывавших подводную войну, до нынешнего

дня дожили единицы. Когда наш самонадеянный юнец покидал свой дом в Германии, чтобы поступить на подводный флот, он отправлялся на верную гибель. Он узнал об этом постепенно из разговоров с товарищами по команде. Теперь до того трудно найти людей на такую гнусную работу, что только Германия ухитрилась добыть человека, которого использует до конца.

И каков же конец?..

Мне сообщили некоторые подробности о судьбе одной из подводных лодок, рассказанные двумя пленными, умершими на днях в Харвиче. Эта лодка была поражена миной, пробившей брешь в ее корме. Будучи не в состоянии выбраться на поверхность, лодка начала погружаться кормой вниз. Разумеется, в результате пробоины давление воздуха внутри лодки немедленно сравнялось с давлением забортной воды. С каждыми десятью ярдами погружения прибавлялось по четырнадцати фунтов на квадратный дюйм. Уши и кровеносные сосуды людей неожиданно подверглись чудовищному давлению. Они сразу же испытали жестокую боль в глазах и тяжесть в груди. Затолкав вату в уши и в ноздри, моряки попытались спасти барабанные перепонки. Теперь лодка не держалась на ровном киле. Люди

удерживались за предметы или сползали по их поверхности. Они карабкались по наклонному полу, спасаясь от медленно приближающейся воды. Вода не бросалась на них, чтобы немедленно утопить, потому что воздуху некуда было выйти; вода подбиралась упорно и незаметно по мере того, как субмарина погружалась все глубже и глубже. Это был процесс медленного и сокрушительного затопления, неторопливо жестокий, как в рассказе Эдгара Аллана По; он мог бы продолжаться часами. Наступило время, когда погасло электричество и поднимающаяся вода остановила аппарат для подачи кислорода и поглощения углекислоты. Началось удушение. Задумайтесь, что должно было происходить в умах обреченных людей, столпившихся среди механизмов. В случае, описанном теми двумя пленными, несколько человек сами намеренно утопились в поднимающейся внутри лодки воде. А в другом случае лодка была найдена полной мертвыми людьми, погрузившими головы в воду, стоявшую внутри субмарины. Говорят, что подводники носят с собой яд на случай таких несчастий, как это. Но это не так — у них нет яда. Это слишком большой соблазн… Когда становится очевидно, что подлодка никогда не

вырвется на поверхность, обычно предпринимается попытка спастись через люки. Люки можно открыть, поскольку давление внутри равно тому, что за бортом. Вода, разумеется, ворвется внутрь, и лодка камнем пойдет ко дну, но у тех людей, *которые находятся ближе к люку,* есть шанс выбраться на поверхность вместе с пузырями вырывающегося воздуха. Разумеется, начинается ожесточенная схватка за место поближе к люку. Это произошло как раз на той лодке, с которой были взяты те двое пленных. Открылся носовой люк. С нашего патрульного судна, крейсировавшего в этом районе, увидели выброс воздуха, а потом головы людей, барахтающихся на поверхности. Большинство из них кричали от боли. Все они, за исключением двоих, ушли под воду прежде, чем их успели подобрать. И эти двое умерли примерно через день. Они умерли, потому что почти мгновенно попали в обычную атмосферу из сжатого воздуха тонущей субмарины и ткани их легких разорвались. Они захлебнулись кровью.

Подумайте об этих бедных созданиях, умирающих в госпитале. Они были измучены приступами кашля и горловым кровотечением, но, должно быть, перед концом у них были минуты изнеможения и покоя, и они лежали, глядя на унылые

стены палаты, и думали; когда они спрашивали себя: «Что мы наделали? Что сделал с нами этот мир? Он сделал из нас убийц. Он мучил нас и изнурял нас… А мы желали ему добра…»

Думал ли наш бедный юноша, умирая, о том, как строилась субмарина, о множестве изобретений и устройств, о терпении и самоотверженности, ушедших на изготовление этой беспощадной западни, в которую он в конце концов попал, я не могу сказать… Но он умер, наш немецкий юноша, который мечтал, питал амбиции, хотел служить и совершать храбрые благородные поступки… Так умерли по меньшей мере пять тысяч людей, англичан и немцев, в потерянных субмаринах под водами узких морей…

Такова история, и это правдивая история. Она более поразительна, чем судьба большинства мужчин и женщин мира, но отличается ли она по своей сути? И не поместилась ли вся жизнь нашего времени в этой истории? И не есть ли эта история о молодости, надежде и возможностях, сбитых с пути, шаг за шагом зашедших в мир неправильных представлений, а потом заброшенных в зло и сведенных вниз, к мерзости и смерти, всего лишь более яркое изложение того, что теперь является общей судьбой огромного

большинства? И есть ли хоть один из нас, кто не был бы на свой манер внутри подводной лодки, творящей зло и влекущей к такому страшному концу?..

Каковы дела, которыми занимаются люди? Скольких из них можно уподобить нагруженным кораблям, служащим благу человечества? Подумайте о лжи и монополизации рынка, об оттеснении противников, перебивании цен, о профессиональной этике, которая позволяет грабить обычного человека! Наш вклад и наши усилия — намного ли это лучше, чем долгие интерлюдии под поверхностью; и когда мы поднимаемся наверх, чтобы торпедировать соперников и топить антагонистов, — как тут обстоят дела с нами? Моряки подводных лодок в сумерках смотрят на тонущих людей. Каждый день я смотрю на мир, тонущий в бедности и невежестве, на мир, омываемый морями голода, болезней и убожества. Нам были даны досуг, свобода и интеллект; что мы сделали, чтобы предотвратить все эти вещи?

Я говорю вам: весь мир — это субмарина и каждый из нас исполняет роль подводника. Дураки, которые вопят в газетах о жестокостях, совершаемых людьми с подводных лодок, не осознают своей собственной роли в этом мире… Мы могли

бы жить под солнечным светом, в мире и безопасности, а живем в тесноте, холоде, мучительном страхе, потому что находимся в состоянии войны со своими товарищами по человечеству…

Но здесь, доктор, вы получаете ответ на первую часть вашего вопроса. Вы спрашивали, против чего борется Дух Божий в человеке. Он против тех умственных замешательств, того невежества, которое толкает жизнь в ужасный тупик, с которым Бог в наших сердцах призывает нас сразиться.

…Он взывает к нам в наших сердцах, чтобы спасти нас из слепых закоулков эгоизма, темноты, жестокости и боли, в которых род наш умрет. Он зовет нас на широкую дорогу, где ждет спасение!

5

Вялость, которая ранее была заметна в поведении мистера Хаса, пропала. Теперь он говорил более энергично; его глаза сияли, и на щеках появился румянец. Голос его был негромок, но речь ясна и больше не прерывалась тягостными паузами.

— Но ваш вопрос имеет две стороны, — продолжал мистер Хас, — вы спросили не только, против чего борется в нас Дух Божий, но и за что он борется. Куда ведет высокий путь? Я говорил вам о том, что считаю человеческую жизнь спутанной и растлевающей массой трагических переживаний; теперь же позвольте мне немного рассказать — если мои мучения еще дадут мне такую возможность, — какой могла бы стать жизнь на этой земле под властью Духа Божьего, нашего полководца.

Я предполагаю, что люди остаются такими, как они есть, и этот мир индивидуально сохраняется тем же самым; я не предусматриваю никаких чудесных перемен в человеческой натуре; но я допускаю, что события в прошлом прошли по другим руслам, так что в нынешнем времени

значительно больше думающих, намного шире обмен мыслями, существенно улучшилось обучение. Я хочу видеть этот мир просто лучше образованным, так что везде, где пламя Божье могло быть возжжено, оно загорелось. Каждый получил *образование.* Объясню, что под *образованностью* я понимаю знание и понимание истории. Да, мистер Фар, спасение через историю! Каждый человек на земле, как я полагаю, должен быть обучен не только лишь писать, читать и считать, но ему должно быть дано все, что может быть сообщено просто и прямо о прошлой истории Земли, о нашем месте во времени и пространстве и об истинной истории человечества. Я не думаю, что существует какое-то более значительное знание о событиях, чем то, которым обладают люди сейчас, но вместо того, чтобы храниться в перемешанном виде во многих умах и многих книгах на множестве языков, допустим, оно было рассортировано и размещено понятно, так, чтобы им можно было легко воспользоваться. Никто никому не препятствовал ознакомиться с этим знанием, и никто его не искажал. Более того, я предполагаю, что вместо множества языков и диалектов все люди смогли освоить один язык, и прочесть одни и те же книги, и говорить на нем

друг с другом.

Вы скажете, что это трудноосуществимые предположения, но нельзя назвать их невыполнимыми. Небольшое количество непоколебимых людей могут настолько решительно повернуть человечество к такому положению дел, что люди достигнут его примерно за дюжину поколений. Но представьте только, как могли бы отличаться условия в этом мире от наших. В мире, таком просвещенном и открытом с помощью образования, большинство жестоких раздоров, которые тревожат человечество, были бы невозможны. Люди и общины, ведущие себя как больные лихорадкой в бреду, ударяя медсестер, опрокидывая свою еду и лекарства и причиняя повреждения себе и другим, там жили бы, осознавая факт своего общего происхождения, общего наследия — потому что в конце концов в наших потомках все наши жизни должны встретиться снова — и своей общей судьбы. В этом более открытом и чистом воздухе пламя, которое и есть Бог, стало бы гореть намного ярче, ибо те из нас, кто не сумели узнать Бога, не узнали его из-за недостатка знания. Намного больше мужчин и женщин смогли бы посвятить себя счастливому труду на благо всего человечества, и то зло, которое есть во всех нас, было бы

гораздо легче различить и проще держать в узде. Я сомневаюсь, чтобы в каком-то человеке было только сплошное зло, но в нашем темном мире добру чинятся препятствия, а самопожертвование высмеивается. Дурные примеры завершают то, что начато слабым и бесцельным обучением. Таков наш мир, в котором безумие и ненависть воплями заглушают здравомыслие. Только решительность наставников и учителей дает надежду изменить этот порядок. Чем можно надеяться изменить это, если не обучением? Неужели вы не можете осознать, что значит здесь обучение?..

Когда я предлагаю вам вообразить образованный и обученный мир вместо этого старого традиционного мира ничем не сдерживаемых страстей, алчности и подлого скотства; представить мир, обученный людьми, вместо мира, оставленного в забвении продажными душами, я не требую от вас, чтобы воображали какие-то чудесные изменения в человеческой природе. Я прошу вас только предположить, что каждый разум получил наибольшее просвещение, какое только было возможно, вместо прежнего затемненного и отуманенного состояния. Каждому должен быть предоставлен верный шанс стать лучшей версией самого себя. Каждый обязан

жить в свете проницательнейшего самонаблюдения и откровеннейшей взаимной критики. Естественно, мы будем жить под управлением бесконечно более здоровых и более заботливых учреждений. Такое положение вещей в действительности не будет ни в коей мере смягчать естественное тщеславие или натуральное себялюбие; оно не отберет у алчного человека его жадность, у дурака его глупость, у эксцентрика его чудачества, у похотливого его вожделения. Но оно отберет у них оправдания и места, где они могли бы спрятать свои пороки; оно осветит их изнутри и окружит кольцом света; оно превратит заключенное в них зло в род болезни, от которой они в их светлые моменты готовы будут лечиться и будут бояться заразить ими других. Это тот мир, который такие, как мы, наставники и учителя, имеющие среди нас негасимое пламя Господне уже возжженным в сердцах, создают уже сейчас, поколение за поколением, вопреки поражениям, а иногда и вопреки надежде; такова работа, возложенная на нас сейчас Богом. И по мере того, как мы прилагаем старания для этих перемен, перед человечеством открывается перспектива на пути к величию…

В этом, нынешнем мире люди живут, чтобы

быть самими собой; обладая своими жизнями, они теряют их; в мире, который мы стремимся создать, они отдадут себя Богу человечества и так обретут настоящую жизнь. Они, по сути, изменят свои учреждения и их методы так, что все люди смогут быть использованы с наилучшим эффектом в общей работе человечества. Они возьмут эту маленькую планету, которая раздирается на лоскуты владений, и сделают ее снова единым садом…

Наиболее озадачивает в людях нынешнего времени отсутствие у них понимания гигантских возможностей силы и счастья, которые предлагает им наука…

— Тогда почему мы не обучаем *науке*? — перебил его мистер Фар.

— … При условии только, если они объединят свои усилия. Они понапрасну пытаются решить проблемы материального порядка, не разрешив своих социальных и политических проблем. Когда они будут решены, механические и технические трудности окажутся несущественными. И это не оккультный секрет; это простая и объяснимая вещь сегодня; мир сможет обеспечить в достатке пищей и досугом каждое человеческое существо, если только всемирное обучение духу

единства сможет преодолеть импульс раздора. И кроме того, станет возможным улучшение общественного здоровья, и неизмеримо повысится общий уровень счастья. Взгляните просто на мир, каков он есть сейчас. Большинство человеческих существ, если они не умирают безвременно, то в большей или меньшей степени страдают от расстройств, которых можно было бы избежать; либо они больны, либо выздоравливают. Им причиняют страдания или уродуют определенные заболевания крови, которые также можно было бы предотвратить. Они оказываются малорослыми или ослабленными из-за легко устранимого недостатка питания. Они становятся вялыми и хилыми из-за плохого жилья, плохой одежды, монотонной работы, от неуверенности и страха. Немногие могут порадоваться достаточно долгим периодам элементарного счастья, которое, естественно, сопутствует физическому здоровью. Это почти повсеместное понижение тонуса, которое не беспокоит нас лишь потому, что мы не способны вообразить себе лучшее состояние, означает огромную потерю человеческих возможностей, уменьшение работоспособности, отсутствие оптимизма. Отдельно взятые усилия никогда не помогут людям выбраться из этого болота

недомоганий. В Уолдингстентоне мы имели наилучшие гигиенические условия, какие только могли создать, принимали все меры предосторожности, и все равно не проходило и года без того, чтобы наша работа не была парализована или задержана какой-нибудь эпидемией; в одном году инфлюэнцей, в другом — корью и так далее. Мы-то свои предосторожности принимали, но горожане, особенно в бедных кварталах, — нет, да и не в состоянии были об этом позаботиться. Я сам думаю, что ущерб от этих круглогодичных маленьких недомоганий значительно больше, чем от больших эпидемий, которые время от времени проносятся по миру. Но все подобные бедствия, большие и маленькие, при достаточном мировом единодушии могут быть абсолютно изгнаны из человеческой жизни. При достаточном единодушии и под разумным руководством люди могут загнать все эти заразные болезни одну за другой в регионы, где они являются эндемичными и откуда они пока начинаются снова и снова, беспокоя мир; а затем могут вытоптать их там навсегда. Сейчас этому мешает не отсутствие знания, а недостаток соответственно разработанного образования, которое дало бы людям во всем мире взаимопонимание, доверие и волю, необхо-

димые для такого коллективного предприятия.

Страдания и взаимная жестокость среди животных, без сомнения, являются частью общей бесцельности природы, но люди в состоянии совершить подстановку цели для этого бесцельного процесса; они уже обладают всеми знаниями и всеми ресурсами, необходимыми, чтобы выбраться из этих тупиков неверных действий, страданий и вздорной тщетности, в которые они заталкивают друг друга. Но они не делают этого, потому что не были соответственно образованы и теперь не получают необходимого образования, необходимого для здравого взаимопонимания и общих усилий. Масса их коллективной мощи распадается и тратится в жалких ссорах и подозрениях, в войне и приготовлениях к ней, в судебных процессах и пререканиях, уходит на создание маленьких стерильных частных запасов богатства и силы, на торгашество, на глупые преследования и противостояние и на тщеславие. И не только то поражает, что они живут в состоянии неизменной зараженности, с плохим здоровьем и дурными характерами, в плохих жилищах и ужасных моральных условиях в то время, как над ними готов просиять свет и до здоровья и величия буквально подать рукой,

но и то, что все возможные блага, полученные ими, могут стать всего лишь прелюдией для еще больших достижений.

Но кроме победы над бедностью, грязью и убожеством жизни, которая наступит в результате разумного использования тех сил и качеств, которыми люди обладают сейчас, возможен огромный рост ощущения счастья от удовлетворенности своим участием в единой постижимой общности благодаря тому, что каждый знает свою роль — и важную роль — в бессмертной и всемирной задаче. Всего лишь горстка людей в наше время может смотреть с удовлетворением на смысл и образ своих жизней. Немногие учителя, пожалуй, отдают себе отчет в том, что служат Господу должным образом, немногие научные исследователи, немногие врачи, строители мостов и машин, немногие сельские производители, моряки и прочие. Они могут верить, что делают нечто необходимое или строят то, что сохранится на долгое время. Но большинство мужчин и женщин нашего времени подобны животным, запертым в туннеле; они следуют своим обычным и основным занятиям, они торгуют, посредничают и оспаривают; и нет мира в их сердцах; они потакают своей похоти и ищут возбуждения;

они знают, что проводят свою жизнь втуне и не имеют способа к бегству. Этот мир полон недовольства и злоупотреблений, насмешек и злобы, жалких уловок, попыток выпутаться, напрасного притворства и зла без всякого проблеска удовольствия, поскольку слепая Природа изрыгает этих людей в бытие, в котором нет света, чтобы направить их шаги. Хотя в ней существуют труд для исполнения каждому, простая причина для этого труда и счастье от его совершения.

Я не знаю, осознает ли кто-нибудь из нас, какое значение может иметь для рода человеческого систематическая организация людского разума для работы над исследованиями. Люди говорят о чудесах, которые научная работа дала нам за последние два столетия, о чудесах, от которых мы по большей части пришли в слишком большое смятение и оказались слишком оглуплены, чтобы воспользоваться ими и собою полностью. Но то, что до сих пор добыто научными исследованиями, можно считать только малым задатком того, что научные исследования могут дать человечеству теперь. Все знание, которое отличает наш сегодняшний день от мира королевы Елизаветы, было результатом труда нескольких десятков тысяч людей, по большей части бедных, работав-

ших при нехватке материалов и в ограниченные сроки в мире, который не понимал их и мешал им работать. Многие сотни тысяч одаренных людей, которые могли бы добиться глубочайших познаний в научной работе, не получили образования или возможностей использовать свои таланты. Но в мире, проясненном и понимающем, исследовательская сеть потеряла бы лишь немногих из ее прирожденных служителей, была бы обеспечена быстрейшая и точнейшая передача результатов от работника к работнику, охотнейшая помощь и почет каждому дарованию. Бедная наука, которая движется сейчас среди наших преступлений и беспорядка как плохо подправленная дурно пахнущая керосиновая лампа в темной пещере, в которой люди заняты дракой и воровством; ее перехватывает то один человек, то другой, так часто, чтобы не помочь насилию и грабежу, в то время, когда ее мерцающий свет мог бы стать подобен восходу солнца в яркое летнее утро. Мы не осознаем, что может сделать человечество за короткий период. Наша власть над материей, власть над жизнью, власть над самими собой могут возрастать год от года, день ото дня. А вот я, претерпев огромные страдания, ожидаю здесь сомнительной операции, от которой могу умереть.

Это не обязательно должно было получиться так. И все мы здесь сидим в жаре и духоте, в этой плохо обставленной и плохо проветриваемой комнате с окнами на мерзкий пустырь. *Это тоже не обязательно должно быть так.* Таково уж свойство наших дней. Я сижу здесь, скрученный болью, в преддверии смерти, потому что человечество допустило мои страдания… Всего этого можно было бы избежать… Но не всегда будут продолжаться такие вещи, не вечно нам подвергаться издевательствам врага человечества…

И такое знание и сила и красота, о которых мы, бедные наблюдатели перед рассветом, можем только догадываться, будут не чем иным, как началом всего того, что возникнет из этих теней и этих мучений. Не навечно жизнь будет оставаться, как на необитаемом острове, заключена на этой планете среди холода и невероятной пустоты пространства. Для вас всех еще не ясно, отчего человек, несмотря на все достигнутое, находится всего лишь в начале своих достижений? Что теперь он возьмет свое тело и свою жизнь и сплавит их в своей воле и что он возьмет себе радость и красоту, как девушка срывает цветок и вплетает себе в волосы. Вы сказали, доктор Баррак, что, если промышленная конкуренция

между людьми прекратится, придет конец и роду человеческому. Но вы сказали это, не подумав. Ибо когда коллективная воля настолько вырастет, то больше не будет слепого выталкивания в жизнь и слепой схватки за право в ней удержаться, как у толпы, загнанной в тупик. Качества, которые служат великим целям человечества, будут пестоваться и взрастать; мужчинам и женщинам, обладающим такими качествами, в крайнем случае будет внушаться понимание их необходимых пределов и ограничений. Вы сказали, что, когда люди перестанут конкурировать, они остановятся. Пожалуй, это верно в том смысле, что они прекратят свои междоусобные войны; тогда, и только тогда, человечество сделает рывок вперед. Сила и красота людей будет быстро расти, с каждым поколением, и это коснется не только человечества. Весь этот мир человек сделает садом для себя, управляя не только собственным родом, но и всеми тварями, вытесняя из жизни жестокость, делая других милосердными и сдерживая их своей рукой. Мухи и москиты, шипы и яды, грибки в крови и ящур среди скота — с этими напастями он решительно покончит. Он отберет у атомов их энергию и секреты у глубин пространства. Он разобьет стены своей тюрьмы

посреди космоса. Он шагнет со звезды на звезду, как сейчас мы перешагиваем с камня на камень, переходя ручей. До тех пор, пока он не встанет в свете Божьего присутствия и не посмотрит своему противнику и насмешнику прямо в лицо.

— О, Ravins! — внезапно прорвало мистера Дэда, который больше не мог утерпеть.

— Вы можете подумать, что мой мозг в горячке, потому, что мое тело страдает; но уверяю вас, мой разум никогда не был так ясен, как сейчас. Это так, словно я уже наполовину покинул свою ничтожную жизнь, которая поддерживала меня так долго. То, что я рассказываю, — не бред, а реальность. Мир предназначен для человека, звезды на своих путях — тоже. Если он последует за Богом, который призывает его, и примет дары, предлагаемые Господом. Когда я сижу здесь с вами и рассказываю вам об этих вещах, они становятся настолько ясными для меня, что я не могу понять вашего молчания и того, что в вас не загорается — как во мне — пламя Божьего предназначения…

Он резко замолчал. Казалось, что его силы подошли к концу. Подбородок его опустился, и голос, когда он снова заговорил, был голосом слабого и измученного человека:

— Я говорю… говорю… И тогда опустошающий смысл действительности ударяет, как разрушительный шквал, в мой мозг и моя маленькая лампа надежды угасает…

Это похоже на то, что великий супостат осадил мой мир, передразнивая каждую фразу, которую я употреблю, и каждое мое действие…

Мистер Хас глубоко вздохнул.

— Я ответил на ваши вопросы, доктор? — спросил он.

6

— Вы говорили о Боге, — сказал доктор Баррак, — но то, о чем вы рассказывали, как о Боге, разве это на самом деле то, что люди подразумевают под понятием «Бог»? Мне кажется, как я уже сказал вначале, это всего лишь персонализация доброй воли в каждом из нас всех. Зачем вводить Бога? «Бог» — это слово, ассоциируемое с разнообразными черными и жестокими делами. Оно вызывает мысли о клерикалах, об ортодоксии, о религиозных преследованиях. Почему вы не назовете эту направленную вперед и ввысь силу Гуманностью? Почему не назовете ее Духом Человечества? Тогда, возможно, и такой агностик, как я, мог бы ощутить определенное согласие с вами…

— Но ведь я уже показал вам, что это не гуманность и не дух человечества. Человечество, дух людской создал отравляющий газ и субмарину, дух человека завистлив, агрессивен и пристрастен. В Человечестве укоренились алчность и конкуренция, а в духе человеческом страх и ненависть, секретность и скрытность, они по большей части творят его и приказывают ему. Но тот дух,

что сияет во мне, то пламя, которое я называю Богом, было зажжено, не знаю как, оно пришло словно бы извне.

…Я пользуюсь фразами, — продолжал мистер Хас, — которые приходят мне в голову уже готовыми. И я склонен согласиться с вами в том, что я говорю порой метафорически и расплывчато, и я это знаю… Этот дух, входящий в жизнь, — он больше похож на личность, чем на процесс, и я называю его «Он». И Он — не свойство, не аспект вещей, но выбор между ними… Он охватывает, выявляет и утверждает все, что благородно в естественных импульсах разума. Он осуждает жестокость и всяческое зло…

Я не стану пытаться объяснить то, чего я объяснить не могу. Может быть, этот Бог всего лишь предчувствуется в жизни. Может быть, вы правы, доктор Баррак, что этот огонь, который я ощущаю в сердце как Бога, является таим же результатом вашего Процесса, как и все остальные явления в жизни. Я не стану спорить с этим. То, что я рассказываю вам сейчас, воспринимается мною скорее не как вера, а как чувство. Мне представляется, что жажда творчества, горящая во мне, отличается по своей природе от слепого материального Процесса, что эта сила противодействует силам

беспорядка… Но что я знаю наверняка, это то, что, загоревшись однажды в человеке, она подобна всепожирающему пламени. И если оно однажды возгорелось в человеке, с тех пор его разум охвачен огнем. Оно правит его совестью с непреодолимой силой. Оно требует от него прожить остаток жизни, работая и борясь за единство, освобождение и торжество человечества. Он может оставаться посредственным, трусливым и низким, но он уже знает, для чего он живет… Некоторые древние фразы чудесным образом живут до сих пор. Нутром моего сердца *я знаю, что мой Спаситель жив…*

Он резко замолчал.

Доктор Баррак не был готов к ответу, но упрямо покачал головой. Эти обветшалые от времени фразы были ненавистны его духу. Для него они имели привкус ханжества, поиска благоволения устаревших и дискредитированных сил. Через такие бреши суеверия просачиваются вновь в тщательно огражденные от них умы. Хотя мистер Хас был трудным противником в словесной схватке.

— Нет, — поспешил ответить доктор Баррак, — нет…

7

Судьба, однако, пришла на помощь доктору Барраку.

Маленькая конференция в «Морском виде» ощутила присутствие новой личности. Это был резкий, рассерженный и распаренный мужчина небольшого роста с живыми темно-карими глазами, загорелым лицом, щеточкой усов серо-стального цвета и выступающей нижней челюстью. На нем были серо-голубой светлый костюм и светло-коричневые ботинки. В руке он держал светло-коричневый кожаный саквояж.

Сначала он появился за окном, что-то выкрикивая вне пределов разборчивой слышимости. Выражение его лица было богохульным. Он угрожающе размахивал своим саквояжем.

— Боже, Боже! — вскричал доктор Баррак. — Сэр Алфеус!.. Я совсем забыл о времени!

Он кинулся вон из комнаты, и вскоре послышалось шарканье в коридоре.

— Меня должны были встретить, — сказал сэр Алфеус, входя. — Меня должны были встретить. Смешно притворяться, что вы не знали, который час. Врач общей практики *всегда* знает время. Это

его первая обязанность. Я не могу понять неучтивости этого приема. Я был вынужден проделать путь до вашей операционной, доктор Баррак, без сопровождающего; ни одного свободного кеба от самой станции. Мне пришлось пройти всю улицу по жаре, читая названия на воротах — в большинстве смешные и банальные имена: «Хадж», «Тимьяновая отмель», «Кедры» и «Капернаум», и все бок о бок! Это хуже, чем у Фрейда.

Доктор Баррак сконфуженно и невнятно продолжал извиняться.

— Мы здесь беседовали, сэр Алфеус, — произнес сэр Элифаз, выдвигаясь вперед, словно для того, чтобы защитить доктора от вызванного им специалиста, — по некоторым весьма захватывающим темам. Этим только можно извинить нашу небрежность. Мы обсуждали образование — и Вселенную. Судьба, свобода воли, абсолютное предназначение… Не каждый строительный подрядчик может цитировать Мильтона.

Великий хирург окинул взглядом обладателя патента на теманит.

— Судьба — вздор! — вдруг резко и грубо выпалил сэр Алфеус. — Это никоим образом не извиняет того, что меня не встретили.

Его маленькие светлые глаза обежали собрав-

шихся и распознали среди них мистера Хаса.

— Что?! Мой пациент не в постели! Даже не в постели! *В постель, сэр! Немедленно в постель!*

Он исключительно резко обошелся с доктором Барраком:

— Вы, сэр, относитесь к операции весьма легкомысленно!..

Глава 6
ОПЕРАЦИЯ

1

Пока сэр Алфеус громко ворчал, что абсолютно ничего не готово, мистер Хас с помощью доктора Баррака поднялся наверх и разделся.

Долгая дискуссия цепко завладела его сознанием. Многое в его мыслях так и осталось неопределенным. Ему хотелось рассказать еще о нескольких обстоятельствах, но все эти процедуры, предшествующие вивисекции, казались ему неуместными и докучными ритуалами, мешающими чему-то намного более важному.

Кровать, инструменты, приготовления к анестезии были для него не более чем новыми поводами для спора. Когда мистер Хас уже лежал на кровати, а доктор Баррак держал в руках раструб, который должен был накрывать рот и нос пациента при использовании хлороформа, он попытался заметить ему, что сама идея оперативной хирургии чужда научному фатализму этого джентльмена. Однако сэр Алфеус прервал его.

— Дышите глубже, — скомандовал доктор Баррак… — *Дышите глубже…*

Вся огромная фабрика аргументов, выстроенная в его мозгу, качнулась вместе с ним через

бездну ужаса и умственной пустоты. Что последовало за этим, спал он или продолжал думать, сказать невозможно; мы можем лишь представить эти идеи как кристаллиновые пузыри, размером равные всем вещам, заполнявшим его сознание. Им овладело характерное сомнение, выполнит ли хлороформ свою задачу, и тогда последовал странный звон, похожий на звук лопнувшей скрипичной струны:

— Поннг…

А он, казалось, вовсе не потерял чувствительность! Он не был бесчувственен, но вещи вокруг изменились. Доктор Илайхью все еще присутствовал, но каким-то образом сэр Элифаз, мистер Дэд и мистер Фар, которых он оставил внизу, вернулись к нему и сидели рядом на земле — вернее, на золе; все они печально сидели на куче золы под небом, которое сияло ярким светом. Сэр Алфеус, медсестра, спальня — исчезли. Казалось, что все это только приснилось ему.

Но вокруг была реальность, устойчивая реальность, это рубище и эти дымящиеся кучи золы за городскими воротами. Это была сцена нескончаемого эксперимента и бессмертного спора. Он был Иовом, тем самым Иовом, который сидел здесь тысячи лет назад, а этот худой хищный старик

в огромном тюрбане — не кто иной, как Елифаз Феманитянин, человек пониже ростом, выглядывавший из-под капюшона шерстяного плаща, был его друг Вилдад Савхеянин; энергичное грубое лицо человека, одетого в нечистую холстину, выдавало Софара Наамитянина; а этот молодой человек с лицом, жестким, как кулак, сидящий с видом ложной скромности и нахально судящий их всех, был Елиуй, сын Варахаилов, Вузитянин из племени Рамова…

Странно было бы даже вообразить, что эти люди были врачами, школьными наставниками или производителями оружия, причудливо завуалировавшими свою бессмертную сущность под преходящими одеждами эпохи. Веками они сидели здесь и спорили, и еще века им предстояло сидеть. Неподалеку от них ожидали ослы, верблюды и рабы трех эмиров, а два эфиопских раба Елифаза направлялись к сидящим, таща два таза чистой серой золы. (Поскольку Елифаз из гигиенических соображений не пользовался обычной золой для посыпания своей головы.) А там, вдали, испещренные зелеными пятнами пальм и пронзенные между пилонами сверкающим рукавом реки, виднелись низкие коричневые стены из высушенного на солнце кирпича, дома с плоски-

ми крышами и витые башенки храмов древнего города Уц, где впервые начался этот великий спор. На восток, на запад, на север и на юг простирались широкие равнины мира, усыпанные маленькими финиковыми деревьями, а над ними возвышался неизмеримый купол небес, украшенный солнцами и звездами и залитый светом.

Этот свет засиял, когда говорил Елиуй, и это был не только свет, но и голос, ясный и внятный, и вся душа Иова преклонилась и замерла…

— Кто этот, который вслепую советует словами, лишенными знания?

С огромным усилием Иов поднял глаза к зениту.

Это было так, словно здесь воссиял тот, кто был всем, кто охватывал все силы и царства, но было еще что-то вроде теневой завесы перед его лицом. И это было так, будто темная фигура, окруженная нимбом из разноцветных контуров, наклонилась надо всем миром и рассматривала его со злорадным любопытством, и это было так, словно эта темная фигура представляла собой не более чем прозрачную вуаль перед бесконечно длящимся излучением. Находилась ли эта вуаль перед светом или гнездилась где-то в самом сердце света и распространилась, оттуда наружу и оказалась

перед лицом света, распространилась, и отступила, и снова распространилась в бесконечной диастоле и систоле? Это было так, словно говоривший голос принадлежал Господу, но то и дело казалось, что в его тембре слышался отзвук слов Сатаны. Когда голос обращался к Иову, его друзья слушали и смотрели на него, и глаза Елиуя сияли, как гранаты, а глаза Елифаза как изумруды, а глаза Вилдада были черными, как у ящерицы на стене, а у Софара не было глаз, и он смотрел только темными впадинами, укрытыми под нахмуренными бровями. Когда Бог говорил, они все, и Иов вместе с ними, становились все меньше и меньше и сжимались, пока не становились наименьшими из различимых предметов, пока вся эта сцена не становилась игрушечной; они делались нереальными, как упавший бумажный обесцвеченный кружочек конфетти, плывущий среди неизмеримого величия.

— *Кто этот, который вслепую советует словами, лишенными знания?*

Но в этом сне, который снился мистеру Хасу в то время, как он находился под наркозом, Бог говорил не словами, а светом; в его уши не проникали звуки, но мысли бежали сквозь его мозг, как быстрые ручейки, собирались в лужицы и

создавали пульсирующий рисунок ряби, где переплетался один узор с другим…

Мысли, которые, как казалось, Бог высказывал через его мозг, могли быть переведены в слова только определенным образом и с большими потерями, поскольку это были мысли о предметах, находящихся вне и выше этого мира, а наши слова все созданы из имен вещей и названий чувств нашего мира. Противоречащие друг другу понятия стали совместимыми, а непонятные вещи сделались простыми, поскольку он погрузился в сон. Наркоз как бы освободил его идеи от их привязанности к словам и фразам и от их тяготения к чувственной реальности. Но это была та же самая линия мыслей, которой он следовал через звезды и пространства, и та же, которой он придерживался, споря в душной маленькой комнате «Морского вида».

Что-то стояло за тем способом, которым идеи пробегали сквозь мозг мистера Хаса. Сначала ему казалось, что он не по своей воле, а как бы механически отвечает на сомнение в голосе, заполнявшем весь мир. Он произнес:

— Тогда *дай* мне знание.

На что ответ последовал голосом Сатаны и в издевательском тоне. Поскольку Сатана сделался

более близким и определенным для Иова, как темное лицо, потрепанное временем, но оживленное, высылавшее к границам пространства один за другим сияющие цветные круги, подобно тому, как пловец гонит волны к берегу.

— Но что у тебя найдется в качестве сосуда, чтобы держать в нем свое знание, если мы тебе его дадим?

— Именем Господа, который в моем сердце, — сказал Иов, — я требую знания и силы.

— А кто ты такой? Педагог, дающий плохо подготовленные уроки истории в душных классах и мечтающий учить своих юных джентльменов играть в чехарду среди звезд.

— Я Человек, — ответил Иов.

— *Хас.*

Однако эта странная сила, позволяющая человеку сбросить с себя черты личности и полностью расстаться со своей тождественностью, как это бывает во сне, овладела мистером Хасом. Он отвечал с абсолютной уверенностью:

— Я человек. Там, внизу, я был Хасом, но здесь я Человек. Я — это каждый человек, который когда-либо посмотрел вверх, в сторону света Господнего. Я — это каждый, кто думает, работает или проявляет добрую волю ради человечества.

Я — это все исследователи и предводители и учителя, которые когда-либо были у людей.

Спор выдохся. Он выдержал свою точку зрения, как такие позиции обычно удерживаются во сне. Дискуссия сползла к другой теме из тех, что беспокоили его.

— Ты хотел бы измерить глубины знания; ты хотел бы узнать масштаб высот пространства… Ни тому, ни другому нет предела.

— Тогда я буду измерять их вечно. Я одолею тебя.

— Но ты никогда не уничтожишь меня.

— Я пробью себе путь к Богу сквозь тебя.

— И никогда не достигнешь его.

Казалось, что теперь заговорил другой голос. На какой-то момент завеса Сатаны была отодвинута в сторону. Мысли, которые выражались сейчас, пробегали, как добела раскаленный, расплавленный металл, сквозь разум Иова, но говорил ли он эти вещи Богу, или Бог говорил их ему, не проявлялось никоим образом.

— Так жизнь идет всегда. И не может идти никаким другим образом. Никаким другим способом здесь не может существовать такое бытие, как жизнь. Но как мог бы ты бороться, если бы знал, что победа предрешена? Зачем бороться, если ко-

нец заранее известен? Как ты мог бы подняться, если бы не было бездн, в которые ты мог упасть? Темнота и зло вокруг тебя дают тебе гарантию реальности…

Столетиями голос Иова звучит жалобой и еще века будет звучать. Сквозь века пламя его веры пылает и колеблется и угрожает вырваться наружу. Но оправдан ли Иов в своих жалобах?

На самом ли деле Иов в своих жалобах прав? Его мысли окрашены в цвет несчастья. Он увидел весь мир отражающим страдания его тела. Он сосредоточился на болезни, жестокости и смерти. Но существует ли зло, жестокость или страдание, которое было бы вне возможностей человеческого контроля? Если бы это было так, он на самом деле мог бы жаловаться, что Господь насмеялся над ним… Разве закаты безобразны и угнетающи? Разве мерзки горы, а дальние холмы отталкивающи? Разве есть какие-нибудь изъяны в звездном небе? Если жизни животных и людей темны и неприглядны, то строение их тел несравненно приятнее. Ты усмехнулся, потому что из красоты клеток и тканей получается идиот. Почему, о Человек, из них складывается идиот? Разве у тебя нет воли, разве ты не понимаешь, что это ты допустил существование таких вещей? Темнота

и неприглядность, зло и жестокость — это не более чем вызов к тебе со стороны мира. В тебе заключена сила, способная разобраться с этими вопросами…

Сквозь клубящиеся в его мозгу облака эта фраза пробилась лучами солнечного света:

— Сила урегулировать эти проблемы. Сила управлять…

Ты слишком сосредоточился на боли. Боль — это преходящая неприятность; она оканчивается и забывается. Вне памяти и страха боль — ничто, противоречие, на которое надо обратить внимание, предупреждение, которое следует учесть. Без боли во что превратилась бы жизнь? Боль властвует только нал малодушными людьми. Настоящий человек обладает силой, чтобы управлять ею. В силах Человека — управлять всеми вещами…

Это было так, словно спящий пациент спорил об этих идеях сам с собой, словно он сам был Вселенной, а Иов, Сатана и Бог спорили друг с другом внутри него. Мысли в его голове бежали все быстрее и вдруг сделались яркими и сверкающими, как воды становятся светлыми, когда они выбегают из пещеры на дневной свет. С позеленевшим лицом он бормотал и шевелился в своем великом

споре, в то время как деловитый специалист занимался своими скальпелями, а доктор Баррак шепотом делал указания внимательной сестре.

— Еще один вдох, — сказал доктор Баррак.

— Облако снова накатилось на мою душу… Я прошел сквозь великую тьму. Я прошел через глубокие воды.

— И твоя жизнь никогда не смеялась? А свежесть летнего утра никогда не проливалась радостью сквозь все твое существо? Разве тебе ничего не известно об объятиях возлюбленных, щека к щеке или губы к губам? Разве ты никогда не выплывал в залитое солнцем море или не кричал на склоне горы? И разве нет радости в рукоплесканиях? Твой сын, твой сын, ты сказал, умер с честью. Разве в этой чести нет доли радости? Чист и прям был твой сын и прекрасен в своей жизни. И неужели тебе не за что поблагодарить Бога? Разве ты никогда не играл со счастливыми детьми? Разве ни один мальчик не отвечал на твои уроки — отдавая больше, чем ты давал ему? Отважишься ли ты отрицать радость от собственного аппетита: первый кусок горячего ростбифа в морозный день и глубокий глоток доброго эля? Разве ты не знаешь радости от хорошо сделанной работы или сладкого сна

после тяжкого труда? Или тебе неизвестна радость фермера над вспаханным полем, когда оно выстреливает к небу зелеными остриями всходов? Когда огромные корабли рассекают волны, а в небе гудят аэропланы, не исполняется ли человек снова надеждой? Можешь ли ты наблюдать ритмическое движение машин и по-прежнему испытывать отчаяние? Твоя болезнь окрасила весь мир; небольшой период неудач спрятал свет от твоих глаз.

Это было так, словно спящий пробирался сквозь опушку огромного леса и выходил к открытому месту, но пробивал он свой путь не через деревья и кустарник, а сквозь полосы, сети и переплетения слепящего многоцветного света к ясной перспективе за ними. Он словно вырос до гигантских размеров, так что под ногами у него была теперь не земля, а тот кристаллиновый пол, в прозрачных глубинах которого двигались звезды. И хотя он приближался к открытому месту, он никак не мог его достигнуть; радужная сеть, которая, казалось, становилась тоньше, снова утолщалась; он продолжал бороться, и те темные сомнения, от которых он почти избавился, снова окутали его душу. И тут он осознал, что он спит и этот сон теперь быстро подходит к завершению.

— О, Боже! — вскричал он. — Ответь мне! Поскольку Сатана извел меня своими насмешками. Ответь мне прежде, чем я потеряю из виду твой лик, имею ли я право бороться? Имею ли я право явиться с моей маленькой Земли сюда, превыше звезд?

— Имеешь, если отважишься.

— Могу ли я завоевывать и покорять? Обещай мне!

— Ты можешь вечно завоевывать и находить новые миры для завоевания.

— Могу — но должен ли?

Это было так, словно поток расплавленных мыслей внезапно прекратился. Словно все вдруг остановилось.

— Ответь мне! — возопил он.

Сияющие мысли медленно двинулись снова.

— Пока выдержит твое мужество, ты будешь завоевывать… Если ты имеешь мужество, хотя ночь будет темной, хотя теперешняя битва будет кровавой и жестокой и закончится странным и недобрым образом, однако победа будет за тобой — как, ты поймешь — когда придет победа. Только имей мужество. От мужества в твоем сердце зависит все. Этим мужеством движутся по своим путям звезды, день за днем. Одно лишь муже-

ство жизни держит небо над землей… Если это мужество подведет, если этот священный огонь погаснет, исчезнет все, все вещи — добро и зло, время и пространство.

— И ничего не останется?

— Ничего.

— Ничего, — повторил он, и это слово растянулось, словно темная и все темнеющая маска на лицах всех вещей.

А затем, словно для того, чтобы подчеркнуть значение этого слова, вся Вселенная, как ему показалось, стала как бы сворачиваться внутрь себя, все быстрее и быстрее, пока не уменьшилась с невероятной скоростью. Он тщетно пытался противиться этому коллапсу, прилагая чудовищные усилия. Белый свет Бога и кружащиеся цвета мироздания, межзвездные пространства — казалось, их сгребали вместе невидимые пальцы. Все они двигались к одной точке, как вода в клепсидре стремится к ее воронке. Вся Вселенная сжалась, превратилась в маленькую вещь, уменьшилась до размера монетки, пятнышка, кончика булавки, в единственную интенсивно черную математическую точку и — исчезла. Он слышал свой собственный голос, кричащий в пустоте, как ничтожная частица, уносимая ветром:

— Но выдержит ли мое мужество?

Этот вопрос остался без ответа. Не только предметы пространства, но и аспекты времени свернулись вместе в ничто. Последний момент его сна двинулся навстречу первому, сминая все промежуточные моменты и превращая их в один. Мистеру Хасу показалось, что он все еще находится в миге потери чувствительности. Тот самый звук лопающейся струны все еще стоял в его ушах:

— Поннг…

Это была часть того самого звука, который раздался накануне его видения…

Он ощутил новую боль внутри; не прежнюю, тупую и тянущую, а острую и сильную. У него вырвался дрожащий вздох.

— Быстрее, — раздался голос, — он приходит в себя!

— Он не проснется еще несколько часов, — ответил другой голос.

— Его рот и глаза!

Он поднял свои веки, словно налитые свинцом. И обнаружил, что смотрит в интеллигентное, но несимпатичное лицо сэра Алфеуса Менго. Он попытался понять ситуацию, но забыл, как он в нее попал, и, закрыв глаза, снова сознательно и

добровольно погрузился в нечувствительность...

Глава 7
ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММА

1

Прошло три недели.

Никогда раньше не было столь успешной операции в практике ни у сэра Алфеуса Менго, ни у доктора Баррака. Опухоль, которая была удалена, оказалась незлокачественной; диагноз «рак» не подтвердился. Мистер Хас все еще лежал пластом на своей кровати в доме миссис Крумм, но он уже был способен читать книги, письма и газеты и проявлял интерес к делам.

Удаление этой болезненной опухоли произвело очень большие изменения в его душевном состоянии. Он больше не ощущал присутствия невидимой враждебной силы, нависшей над всей его жизнью; его прежнее мужество вернулось. И этот мир, который, казалось, устроил против него заговор несчастий, теперь вновь внушал надежды. Последнее крупное наступление немцев на Париж окончилось крахом в результате контрнаступления маршала Фоша; каждое утро газеты сообщали о новых победах союзников, и мрачная тень германского империализма больше не омрачала виды на будущее. Воображение людей перешло в фазу рациональности

и великодушия; идея организованного мира во всем мире захватила миллионы умов; теперь возникла перспектива нового и лучшего века, казавшаяся невероятной в те недели, когда болезнь мистера Хаса начала свое нападение на него. Но это было не просто общее облегчение, пришедшее взамен дурных предчувствий. Его финансовое положение, к примеру, рухнувшее в результате одного несчастного случая, восстановилось с помощью другого. Дальний кузен мистера Хаса, для которого, однако, мистер Хас оказался самым ближайшим родственником, умер от размягчения мозга после карьеры, состоявшей из почти слабоумных спекуляций. Свою собственность он завещал частично мистеру Хасу, а частично Уолдингстентонской школе. За несколько лет до войны он позволил себе дикую покупку обесцененных акций медных рудников и стал обладателем пачек того, что казалось в то время простой бумагой. Война все это изменила. И вместо того, чтобы быть признанным несостоятельным, покойный, несмотря на тяжелые потери на канадских земельных участках, оставил, по заключению исполнителей его воли, около тридцати тысяч фунтов. Легко недооценить благо, считая его в деньгах. Нечаянное наслед-

ство обеспечивало в сотню раз большую свободу, комфорт и облегчение от забот для миссис Хас, которой ничто другое этого дать не могло. И на душевном состоянии мистера Хаса смена настроений его жены отразилась гораздо сильнее, чем он подозревал.

Но еще большие улучшения, казалось, наступали в мире мистера Хаса. Остальные члены правления Уолдингстентона, как стало известно, были не согласны с сэром Элифазом и мистером Дэдом в их проекте замены мистера Хаса на мистера Фара; а многие из бывших учеников школы, находящихся на фронте, уловив по известиям из дома, о чем идет речь, создали небольшой комитет с экстренной целью защитить своего старого директора. Во главе этого комитета по счастливому стечению обстоятельств стал молодой Кеннет Берроуз, племянник и наследник сэра Элифаза. В школе он никогда ничем особенным не выделялся; он был одним из тех разносторонне одаренных мальчиков, которые оканчивали школу старостой, были заметными среди первых двенадцати выпускников и вторыми или третьими по выбранным ими самими предметам. Он никогда не играл роль звезды и не особенно радовался доверию, оказанному свыше. И поэтому

весьма приятно было, что он оказался наиболее страстным и неутомимым защитником порядков, введенных в школе мистером Хасом. Он услышал о предлагаемых переменах за обеденным столом у своего дядюшки, когда уезжал, и понял, что должен что-то немедленно предпринять, чтобы помешать намерениям старого джентльмена. Леди Берроуз, которая обожала его, сразу же была перевербована на сторону Хаса. Она была готова к этому, потому что ей не нравились ни довольно подчеркнутое поведение за столом мистера Дэда, ни манера одеваться мистера Фара.

— Вы не знаете, чем для нас был мистер Хас, сэр, — несколько раз повторил молодой человек и вернулся во Францию, унося эту фразу в своем сознании все более разрастающейся и крепнущей. Он был одним из тех добрых парней, которым война дала мощный толчок в их развитии. Смерть, невзгоды, ответственность — в свои двадцать два года он был майором в артиллерии — из школьника сделали мужчину, понимающего жизнь; он знал, что означает отставка. Благодаря этой новой зрелости он счел естественным написать своему старому директору как человек человеку и успокоить его. Получив его карандашные строки, адресат, ослабленный

после болезни, заплакал, но не от страданий, а от радости. Эти листки были прочитаны, как любовное письмо. Теперь они лежали на одеяле, а мистер Хас смотрел в потолок и уже представлял себе, как новый Уолдингстентон поднимется из пепла, еще более величественный, чем прежде.

2

Всего несколько недель назад, писал молодой человек, *мы узнали обо всем этом заговоре против традиций Уолдингстентона, а теперь идут разговоры о вашем отказе от директорства в пользу мистера Фара. Лично я, сэр, не могу вообразить себе, что вам придет в голову сдать свой пост — причем именно ему из всего правления; у меня есть некоторое сомнение на этот счет; но мой дядя уверен, что вы были расположены подать в отставку (я лично слышал, как он сказал, что убеждал вас остаться), и, желая убедиться, что он не прав относительно ваших намерений, я беспокою вас этим письмом. Вкратце моя задача состоит в том, чтобы уговорить вас остаться во главе школы, а это означает то же самое, что остаться вместе с самим собою и с нами. Вы научили сотни из нас крепко стоять на своем, а теперь эта наука понадобится вам самому. Я знаю, вы больны, тяжело больны; я слышал о Гилберте, и я знаю, сэр, мы все знаем, хотя он и не был в нашей школе, а вы никогда не выдавали своего предпочтения или того, как вы любили его, считая это неэтичным. Вы выдержали это*

все, сэр, до последнего класса. Но, сэр, здесь есть некоторые из нас, кто чувствуют себя почти что вашими сыновьями; и если вы не уделяете и не можете уделить нам такой отцовской любви, то это не меняет того факта, что вдали от вас есть люди, думающие о вас, как думают о своих собственных отцах. А особенно такие, как я, оставшиеся без отцов в раннем детстве.

Я не большой специалист выражать свои чувства; я не доверяю мистеру Кроссу и его классу английского языка; в общем, я не верю, когда говорят слишком много; но мне хотелось бы сказать вам кое-что о том, чем вы были для многих из нас. Продолжающий действовать Уолдингстентон всегда будет чем-то вроде флага, а Уолдингстентон, разрушающий свои традиции, означает капитуляцию. Но я ни капельки не собираюсь льстить вам, и, если вам так показалось, простите меня, но позвольте изложить то, ради чего я пишу вам. Одной из самых привлекательных ваших черт для нас было то, что вы были с нами всегда так весело гуманны. Вы всегда были разным. Я видел, как вы давали уроки, которые можно назвать лучшими в мире, и видел ваши плохие, но веселые уроки. А были случаи — например с тем ноябрьским фейерверком, — в которых,

как мы думаем, вы были резки и не правы...

— Я был не прав, — сказал мистер Хас.

Это едва не привело к бунту. Но вы тогда добились своего, и вот почему Уолдингстентон не может существовать без вас. Когда вокруг фейерверка разгорелся скандал, мы созвали школьный митинг, пригласив старост, и допустили на нем несколько грубых высказываний — вы никогда не слышали об этом митинге, — мы единодушно заявили, что считаем вас неправым, но, правы вы или не правы, мы не вмешались и не допустим продолжения конфликта. Наверное, вы помните, как быстро была замята, эта ссора. Но именно так вы нас завоевали. Вы поступили неверно, вы позволили нам увидеть вас насквозь; я не знал такого директора школы или отца, который выдал бы себя так беззаботно, как вы; вы никогда не выставляли перед нами ложного фасада, и в результате каждый из нас знал: все, что нам известно о вас, существует в вас на самом деле; любой ученик младших пяти классов может заглянуть туда и осознать, что вы ведете нас к тому, к чему стремитесь сами всем сердцем и душой, и что школа движется в этом направлении и живет им. Мы, ребята из Уолдингстентона, всегда ощущаем эту общность, когда собираемся

вместе; в нас есть что-то, чего не хватает многим другим парням, которых встречаешь здесь, даже выпускникам знаменитых школ. Это не хвастовство собой, сэр, а простая констатация факта, что жизнь, к которой мы приобщились в Уолдингстентоне, более важна для нас, чем наши физические жизни. Точно так же, как она более важна для вас. И дело не только в способе, которым вы учили нас, хотя учили вы нас блестяще, дело в том, как вы чувствовали, что она захватывает нас. Вы заставляли нас думать и чувствовать, что прошлое всего мира было и нашей собственной историей — от оленьих пастухов Севера до египетских жрецов, от солдат Цезаря до испанских алхимиков; ничто не было мертвым, и ничто не было чужим; вы сделали исследования и развитие цивилизации нашим приключением, а все будущее — нашим ожидаемым наследством. Большинство людей, с которыми я встречался здесь, чувствуют себя потерянными на этой войне, они похожи на кроликов, выгнанных из норок наводнением, но мы, ребята из Уолдингстентона, воспринимаем ее как ежедневную работу, и, когда придет мир и начнется новая жизнь, это тоже вольется в историю для нас; ежедневная работа, которая присоединится

к предыдущей. Вот в чем сущность Уолдингстентона, именно это толкает вас на нескончаемый вышний путь. Другие парни, которые прибывают сюда из разных школ, как мне кажется, не имеют дороги вовсе. Они сильны и смелы по натуре или стали такими под влиянием сообщества; они хорошие бойцы и стойкие люди, но то, что поддерживает их, — либо привычка и пример окружающих, либо что-то неглубокое, не дающее силы выстоять до конца: смутная лояльность по отношению к Империи, стремление наказать «гуннов» или восстановить мир в Европе, какие-то близорукие взгляды подобного рода, мотивы, которые оставят их выброшенными на берег после войны, во всяком случае, без дела, которое стоило бы продолжать. Поговорить с ними о послевоенном времени — значит осознать, в какие тупики завели их учителя. Они понимают, против каких идей надо бороться, но не понимают, за какие идеи следует бороться. Разве что за несбыточную мечту вернуться куда-то и поселиться там, как они привыкли жить, а в остальном у них вообще нет и намека на идею. Вся ценность Уолдингстентона заключается в том, что он проводит человека мимо тупиков и направляет на путь, которым он может следо-

вать до конца своих дней; он делает его игроком, в составе беспредельной команды и в одиночку играющим с Творцом. Мы все вернемся домой, чтобы вновь заняться нашей работой в том же духе, работой, которая объединит нас, наконец, в создании реального состояния мира, мировой цивилизации и нового порядка вещей, и если мы можем думать о том, сэр, как вы там, в Уолдингстентоне, продолжаете работать для того, чтобы нас стало еще больше, и готовы принять сыновей, которых мы вскоре пришлем к вам…

Мистер Хас прекратил чтение.

3

Он лежал и лениво думал:

«Я говорил о тупиках совсем недавно. Странно, что он делает упор на той же фразе…

Возможно, какая-то моя старая проповедь… Не сомневаюсь, что я поучал их об этом раньше…

Я полагаю, что воспитание можно определить как извлечение умов из слепых закоулков…

Допустимое определение, во всяком случае…

Хотелось бы припомнить хорошенько тот разговор. Тогда я много говорил о подводных лодках. Я, по-моему, сказал, что весь мир на самом деле похож на команду субмарины.

И это правда — в универсальном смысле. Каждый находится в тупике, пока мы не пробьем дорогу…

Странный у нас получился разговор… Я, помнится, не захотел ложиться в постель — что-то вроде мозговой лихорадки…

А потом был сон.

Я хотел бы подробнее вспомнить и этот сон. В нем я как будто смог взглянуть вокруг под неким метафизическим углом… Кажется, я побывал в великом месте — и беседовал с Богом…

Но как можно, чтобы кто-то разговаривал с Богом?..

Нет. Это все миновало…»

Его мысли вернулись к письму молодого Берроуза.

Он стал строить планы восстановления Уолдингстентона. У него была идея перестроить Главное здание и соединить его картографическим коридором с картинной галереей и концертным залом, которые, по счастью, сохранились. Он хотел, чтобы карты, висящие по одну сторону коридора, показывали рост и последовательность смены империй западного мира, а карты на противоположной стене демонстрировали цепь географических открытий и идей в различные периоды человеческой истории.

Как и у многих знаменитых директоров, его ленивые грезы часто имели архитектурный характер. Он извлек из памяти еще одну из воображаемых игрушек и поиграл с ней. В этой своей мечте он хотел организовать ряд этнологических выставок, показывающих различные группы примитивных народов трояким образом; во-первых, маленькие макеты, представляющие их в первобытном состоянии, затем стенды с предметами их искусства и ремесел, выявляющие их

характерные дарования и склонности, а далее — предложения той роли, которую такие народы могут играть в полностью цивилизованном мире: станут художниками, гидами, укротителями диких зверей или займутся другими подобными профессиями. Такие коллекции выходили далеко за рамки возможностей Уолдингстентона, которых он когда либо мог достигнуть, — но ему нравилась эта мечта.

Группы располагались бы в хорошо освещенных выступах, так сказать, «боковых часовнях» его музейного здания, снабженных возвышающимися рядами сидений и школьной доской; это была одна из его фантазий — иметь такую огромную школу, что классы пристраивались бы вокруг нее, как приделы для пилигримов при кафедральном соборе…

От этого его мысли перекочевали к идее группирования больших школ для таких общих целей, как применение кинематографа в образовательном процессе, создания центральной справочной библиотеки и тому подобного…

Ибо одна большая школа ведет к созданию другой. Школы подобны живым существам и, как все живое, должны расти, продолжать свой род и идти вперед от одного завоевания к другому —

или же прийти в упадок, расшатываемые Фарами и Дэдами, и впасть в застой, заболеть злокачественными новообразованиями и погибнуть. Но Уолдингстентон не должен погибнуть. Он обязан распространиться. Он должен взывать к своему роду через Атлантику и по всему миру.

…Он должен обмениваться идеями, скрещиваться и развиваться…

По голубому октябрьскому небу плыли белые облачка, и воздух наполняло гудение пролетающего аэроплана. Цепную собачонку, терзавшую лаем больные нервы мистера Хаса, теперь почти не было слышно.

— Мне хотелось бы назвать одну из часовен музея народов в память Гилберта, — прошептал мистер Хас…

4

В изножье его кровати отворилась дверь, и вошла миссис Хас. Она появилась словно неожиданно, хотя двигалась медленно, сжимая в руке измятый листок бумаги. Ее лицо чрезвычайно переменилось; она смертельно побледнела, глаза были широко открыты и ярко блестели. Она остановилась, оцепенев. Казалось, что она вот-вот упадет. Она даже не попыталась закрыть за собой дверь.

Снизу стало слышно, как миссис Крумм гремит своими сковородками.

Когда миссис Хас заговорила, она произнесла почти беззвучным шепотом:

— Иов!

Ему пришла в голову странная мысль, что миссис Крумм потребовала от них немедленно съехать или сказала еще какую-нибудь грубость, а поведение его жены, казалось, подтверждало это подозрение. Она так нелепо потрясала этим измятым клочком бумаги. Он нахмурился в порыве нетерпения.

— Я не распечатывала ее, — сказала она наконец, — пока не позавтракала. Я не отваживалась.

Я видела, что телеграмма из банка, и думала — это насчет превышения кредита… Все это время, — она заплакала, — пока я ела яйцо…

— О, так что же это?

Ее лицо исказила гримаса.

— От *него*.

Он уставился на нее.

— Это чек, Иов, чек пришел *от него*. От нашего мальчика.

Рот его приоткрылся. Он издал глубокий вздох. На глазах выступили слезы. Он попытался приподняться, но бинты напомнили о себе, и он снова опустился назад. Он протянул к ней исхудавшую руку.

— Он в плену? — выдохнул он. — Живой?

Она кивнула. Казалось, она была готова рухнуть на его бедное, раздавленное тело. Ее руки колебались в воздухе, как бы ища, что бы обнять.

Потом она свалилась в узкое пространство между кроватью и украшенным бумажными вырезками камином и собрала в складки стеганое порывало, вцепившись в него руками.

— О, мой мальчик! — рыдала она. — О, мое дитя… А я-то так злилась из-за траура. Я так злилась…

Мистер Хас лежал неподвижно, как велел ему

доктор, но рука, которую он спустил с кровати, смогла дотянуться и погладить ее волосы.

Уэллс парадоксален, часто хочется
с ним спорить, но никогда его мнения
не оставляют вас равнодушными.
По природе своей, по складу своего таланта
он представляет редкую и любопытную смесь
идеалиста и скептика, оптимиста
и сурового едкого критика.
Он всегда необычен и великолепен.

Владимир Набоков

Роман «Негасимый огонь» классика английской литературы Герберта Уэллса (1866–1946) никогда прежде не издавался на русском языке. Это история Иова двадцатого века, история бесконечной борьбы между Богом и сатаной.

Уэллс парадоксален, часто хочется с ним спорить, но никогда его мнения не оставляют вас равнодушными.

По природе своей, по складу своего таланта он представляет редкую и любопытную смесь идеалиста и скептика, оптимиста и сурового едкого критика.

Он всегда необычен и великолепен.

Владимир Набоков

Роман «Негасимый огонь» классика английской литературы Герберта Уэллса (1866–1946) никогда прежде не издавался на русском языке. Это история Иова двадцатого века, история бесконечной борьбы между Богом и сатаной.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.